

Николай ПОЛОТНЯНКО

# ЗАГОН ДЛЯ ОТВЕРЖЕННЫХ

Повесть

(Журнальный вариант)

– 1 –

В отряде я привык просыпаться рано, сразу же следом за бугром, который обитает подо мной на нижнем ярусе, и когда начинает ворочаться, то верхняя койка вибрирует от толчков его тяжелого и громоздкого туловища. Перевернувшись несколько раз с боку на бок, Михайлыч со стоном и хрипом заядлого курильщика неторопливо поднимается, и я сквозь щелку в одеяле вижу его широкую спину и худые волосатые ноги. У бугра три лагерные ходки за плечами, в ЛТП он залетел по крайней невезухе и в основном из-за подлянок участкового, которому до чертиков надоел пьяными разборками с сожительницей. Подругу Михайлыча отправили в дурдом, а его сунули на два года сюда.

Бугор, если его не заводит, незлой мужик, правда, вид у него жутковатый: в ямке проломленного лба пульсирует обтянутая сухой кожей желеобразная масса мозга, полтора десятка шрамов, синяя, по всему телу паутина наколок — его давние лагерные трофеи. Михайлыч — старый баклан, хотя хулиганский дух из него порядком повыветрился. Сейчас он редко заводится с пол-оборота, только зыркнет на того, кто начинает бузить, глубоко упрятыми в надбровья колючими бесцветными глазками — и тот сразу скисает и прекращает базар, иначе получит по бестолковке, за Михайлычем это не заржавеет.

Пока бугор одевается, натягивает на кальсоны толстые стеганые штаны, забивает опухшие ноги в непросохшие за ночь валенки, я греюсь под одеялом и в щелку смотрю на часы. Черные стрелки на засиженном мухами циферблате упорно ползут к шести.

Скоро подъем, и многие, еще не проснувшись, чувствуют это: то в одном углу, то в другом слышатся поскрипывания кроватных пружин, покашливание, кто-нибудь вскрикнет, досматривая привидевшийся ему кошмар, а бывает, и разрыдается.

— Зэк! Зэк! — металлически вызывают ходики. Михайлыч, шаркая подшитыми прорезиненным ремнем валенками, подходит к часам и истово, по-хозяйски подтягивает гирьку вверх, где она начинает раскачиваться, и бугор осторожно останавливает ее и долго, не отрываясь, смотрит на циферблат. С верхней койки мне хорошо видна его расчерченная старым шрамом лысина, но иной раз мне хочется заглянуть в лицо матерого лагерника, понять, что он переживает в эти мгновенья, ведь время здесь, и я это почувствовал на себе, имеет свою особую цену, которая известна только нам.

Обычно я наблюдаю за ним молча, но иногда шепотом окликаю:

— Михайлыч!

— А? — поворачивается он всем негнушимся телом.

— Часы не отстают?

— Не отстают, — вздыхает бугор и, оттолкнув дверь ногой, топает в коридор в умывалку.

В жилом помещении барака плавает застоявшийся тяжелый и кислый запах от мужицких, насквозь пропотевших тел, кирзовых сапог, несвежего белья, валенок и верхней одежды. Притерпевшись, не замечаешь этой вони, ощущаешь только духоту, но через несколько минут войдет умытый Михайлыч и заорет диким криком: «Подъем! Вот наваняли, сволочи, топор можно вешать!» И вслед за ним из коридора ворвется свежая, как холодное железо, освежающая месиво грубых ночных запахов струя морозного воздуха.

В нашей бригаде пятьдесят с лишним человек, койки в два яруса, между ними тумбочки для личных вещей, тяжелые табуретки с прорезями на сидениях, чтобы переносить было удобнее, на стене плакат «Добьемся высоких производственных показателей!», стенгазета «За трудовые достижения» и вымпел за ударную работу отряда на кирпичном заводе, где осуществляется трудовая перековка алкашей в стойких трезвенников.

Не так сладок сон, как приятна последняя предподъемная дрема. Многие проснулись, но не видно ни одной поднятой головы, никто не шевелится, никто не хочет покидать свою облежанную под одеялом за ночь теплую норку.

Все мы до зубовного скрежета надоели друг другу, поэтому не спешим вставать и бережем свое одиночество. Не знаю, о чем в это время думают другие, но мне чаще всего в эти минуты видится удивительный ясный и мягкий свет, в котором неясно прорисовываются очертания далекого берега реки, избы на глинистом желтом обрыве и тенистые плакучие ивы над тихой и светлой водой. И все это представляется мне так ясно и маняще живо, что накапывает на сердце пронзительная грусть и становится до слез жалко себя, свою загубленную непутевую жизнь.

В первые две недели, когда я пришел в отряд из карантина, меня мучили кошмары. С вечера я долго не мог заснуть, лишь где-то среди ночи впадал в тягостный обморок, и мне порой чудилось, что я лежу за пулеметом, на меня бегут какие-то нелюди, я безостановочно нажимаю гашетку пулемета и стреляю, стреляю, не в силах оторваться от приклада.

Сооружение из двух коек, на которых я спал, видимо, от моей дрожи начинало ходить ходуном, и Михайлыч, не вставая со своего лежачка, пинал снизу матрац.

— Ты что затрясся опять, гад! — хрипел он. — Вот придурок! Я тебя успокою по бестолковке, враз затихнешь!

За стеной в коридоре хлопает входная дверь, и сразу же начинает бубнить бугор: пришел начальник отряда лейтенант Зубов. Михайлыч хрипло докладывает о происшествиях. И, конечно, как всегда, ничего не случилось, хотя редкий день обходится без хипеша: кто на пробку наступит, кто дури накурится или наглотается, кто подерется. Все нарушения непостижимым для меня образом разоблачаются, но меня это не касается, только иногда замечаю, как из кабинета Зубова с изменившимися от боли физиономиями, придерживая одной рукой стену, а другой — бочину, появляются особо отпетые нарушители режима.

Михайлыч начальственно рвет голосовые связки, мы начинаем шевелиться и еще дольше бы тянулись, но скоро построение на завтрак. Выждав пяток минут, я быстро вскакиваю с кровати и, сунув ноги в сапоги, бегу в одних кальсонах в умывку. Некоторые норовят мимо нее проскользнуть в столовую, но бугра провести невозможно. Он видит каждую мелочь и учит по-своему, жестко.

Возле гальюна очередь, вокруг умывальников толкучка, хотя долго возле крана никто не задерживается, плесканет в лицо пригоршню ледяной воды и отскакивает в сторону. Из бытовой комнаты доносится жужжание электробритв: есть среди нас и такие, кто бреется каждое утро, я к этим джентльменам не принадлежу и раз в три дня соскабливаю с лица щетину старенькой безопаской, потому что берегу лезвия: свои советские никуда не годятся, а импортными здесь не разживешься.

Конечно, наше учреждение не относится к числу элитных в системе МВД, но и тут пытаются придерживать порядок, однако не всегда это получается: мешает трехменная работа, скудные средства, выделяемые на наше содержание, но иногда начальство начинает гнать пургу, то есть цепляется ко всякой мелочи, чтобы нас облаять, наказать, а при случае и ощутимо двинуть под ребро. Цепляются к нашему внешнему виду, а какой он может быть у принудбольного, которого гонят на мороз долбить в мерзлой земле траншею для теплотрассы, или он идет на «кирпичики», где ему предстоит иметь дело с сырыми или обожженными кирпичами, работать, как негру, в основном на «пердячем паре», прошу прощения за некорректность выражения. Зубов в этом отношении был мягче других начальников отрядов, однако имел свой пунктик: его приводили в ярость плохо заправленные койки, и мне, поскольку моя койка была первой от двери, пришлось научиться заправлять ее так ровно и гладко, что она казалась каменной плитой. Для такого неряхи, как я, это было подвигом, который начальником отряда был оценен, а заиметь его доброе расположение было вопросом, если не жизни, то сохранения здоровья.

Заправив постели, мы толпимся в коридоре, ожидая, когда скамандуют идти на завтрак. Некоторые закуривают, и над головами слоистыми кругами пышет табачный дым. На улице еще темно, окна запаяны толстым льдом, сквозь который еле-еле просвечивает пятно фонаря на столбе возле барака.

Наконец, раздается команда на выход. Толкая друг дружку в дверях, мы вываливаемся на улицу и строимся в колонну по пять человек в ряд. Знобящий холод

января насквозь прошивает ледяными иглами наши телогрейки, и мы, едва держа строй, скорым шагом устремляемся к столовой.

– 2 –

Я торчу в ЛПТ всего четыре месяца, а кажется, что вечность. Иногда мне хочется подойти к лейтенанту Зубову и спросить, за что меня здесь держат, ведь я никому ничего плохого не сделал, я здоров, к бутылке меня не тянет, а если должен за лечение, так отработаю на воле, – хочу спросить и не решаюсь, потому что знаю: надо мной висит срок, а изменить его может только суд. Если не освободят по половинке, то еще двадцать месяцев я буду париться в вонючем загоне для отверженных, ходить на работу на кирпичный завод, искать свою фамилию на листке вызовов на лечение, которое, кроме как издевательством и пыткой, назвать невозможно.

Пасмурным осенним днем меня привезли сюда на костистом, как деревенская телега, «воронке». Помню, дверцы машины распахнулись, в лицо брызнул жесткий, как окалина, дождик. Я окинул взглядом трехэтажное здание, полунагие черные деревья, мокрую асфальтированную дорожку.

– Давай! Давай! – подтолкнул меня коленом пониже спины сопровождающий мент, и я не глядя спрыгнул в лужу, окатив себя грязной и холодной жижей до ширины штанов.

Подслеповатыми зарешеченными окнами первого этажа на меня угрюмо глядела больница. К ней широкими черными крыльями примыкал забор, убегающий в низкий и плотный туман. Меня сразу охватило ощущение тесноты, и я невольно втянул голову в плечи.

В приемном отделении долго оформляли мои документы, затем повели дальше. Сопровождающим был тощий кадыкастый прапорщик. Под мышкой у него торчала папка с моим делом. Он, помалкивая, шел впереди, следом тащился я, оставляя мокрыми босоножками на кафельном полу приемного покоя грязные следы.

– Гражданин прапорщик! Мне бы забежать куда-нибудь, а то подперло под самую завязку.

Мой поводырь остановился, шмыгнув крошечным носиком-пуговкой и авторитетно сказал:

– Здесь тебе не зона, а профилакторий! Не гражданин начальник или как, а товарищ, понял? Товарищ прапорщик. Усекаешь?

Товарищ прапорщик сдал меня медперсоналу вместе с моим делом и слинял. Под наблюдением медсестры и сухонького старичка в байковом халате, видимо из принудбольных, который отвечал за приемку вещей и санитарную обработку вновь поступающих, я разделся. Старичок, не очень стесняясь, вывернул карманы плаща, брюк, но они, к его сожалению, оказались пустыми и дырявыми.

Но сам я пустым не был: у меня во рту, за щекой лежала свернутая во много раз и от этого превратившаяся в комочек величиной с горошину пятидесятирублевая бумажка, которую мне сунул Стекольников, когда участковый изымал меня из его мастерской. Если бы шмон был настоящим, то деньги у меня, конечно бы, нашли, но здесь требования к личному досмотру были гораздо слабее, чем на зоне.

Сожалеюще вздохнув, дедок затолкал одежду в наволочку и карандашом написал на ней мою фамилию.

– Сожги это барахло, – посоветовал я, переступая озябшими ногами по цементному полу.

– Ну да! А потом ты счет будешь предъявлять. Иди пополощись в душе. Чать, забыл, когда мылся? Тут ты за два года намоешься и наполощешься.

В душевой было просторно и светло, и я впервые за много месяцев увидел себя голым. Неторопливо оглядевшись по сторонам, я опустил голову и прошелся взглядом по рукам, ногам, впалому животу и волосяной растительности, в зарослях которой едва угадывался небольшой обмылок мужского достоинства. «Да, – подумалось мне, – не ходить, не мять в кустах багряных лебеды, и не искать следа...» Будущее представилось в своей беспощадной наготы, на глазах выступили слезы, и, чтобы успокоиться, я шагнул в душевую кабинку.

Несколько минут я стоял, прислушиваясь к бормотанию горячей воды, которое напоминало рокот молодого лиственного леса, когда на него налетают тугие порывы ветра. Мне не хотелось прикасаться к себе, настолько чужим казалось тело, болевшее от долгой, тряской дороги и с похмелья. Я взял кусок хозяйственного мыла и стал намыливать себя, начиная с шеи, плеч и рук. Обмывшись, я еще раз намылил, где только смог дотянуться, спину, живот и ноги, затем пришел черед головы; волосы были настолько грязными, что с трудом намыливались, и мне пришлось их промыть несколько раз, чтобы удалить накопленные залежи грязи.

Я долго стоял под душем, горячие струи лились по спине, животу, и тело, обласканное

ими, начало оживать, оттаивать, умягчаться. На смену тягостному состоянию пришло обманчивое ощущение легкости, и казалось, вытрись я сейчас мягким полотенцем, надень чистое белье — и можно без всяких лечений начинать новую жизнь.

Но дедок не дал мне размечтаться. Он заглянул в душевую и перекрыл кран с горячей водой. Я еще раз ополоснулся в остывающих струях и вышел.

Трусы и майка мне не полагались. Покопавшись в груде белья, старик швырнул кальсоны и рубашку, которые оказались коротковаты, но было сказано, что их заменят в следующую помывку. Выдали мне и халат из застиранной байки, грязно-желтого цвета с шалевым воротником. Стоптаные тапочки я надел на босые ноги.

Пока я мылся, медсестра перелистала мое дело и теперь ждала, пока я оденусь. Это была женщина средних лет с усталыми равнодушными глазами, которую нисколько не интересовала моя нагота. Видимо, за время работы она навидалась здесь всякого.

Не любопытничая, я пошел вслед за ней по коридору. Принудбольные поглядывали на меня с интересом, надеясь увидеть знакомого, но я никого из них не знал.

За час я прошел пять кабинетов. Сначала меня взвесили, измерили, потом прослушали, простукали, затем пересчитали, сколько у меня в наличии зубов, просветили на рентгене, взяли кровь из пальца и из вены — и только тогда отступились на несколько минут. Дело, с которым я поступил, разбухало на глазах.

Я сидел на кушетке возле кабинета главного врача, из коридора доносились звуки включенного телевизора, и не чувствовал ни стыда, ни раскаянья, ни страха. Я был равнодушен ко всему, что со мной было и будет, как глухая каменная кладка. Мое сознание лишь регистрировало получаемые извне знаки вроде проходивших мимо людей, звуков, бликов света, но никак на них не откликалось, и я был готов безропотно подчиниться всему, что со мной сделают.

Все дни с момента моего задержания, которые ушли на обследование и суд, я думал о себе как о постороннем человеке, иногда даже с интересом, мол, что он еще этакое выкинет.

Председательствовал на суде, определившем мне срок содержания на принудительном лечении, удивительно чистоплотный и наутюженный человек лет сорока. Смотрелся он из-под герба свежо и аккуратно, как молодой огурец с грядки. Воротничок сорочки отливал матовой белизной, костюм без единой замятой складки, галстук в тон костюму то же голубой, запонки, когда он перелистывал бумажки моего дела, вспыхивали раскаленными угольками, и весь судья с головы до ног был существом окончательным и бесповоротным вжившимся в умопомрачительную и недоступную мне чистоту и порядочность.

Я не запомнил ни содержания положительной характеристики с работы, которую мне организовал Стекольников, ни заявления жены, слезно просившей принять ко мне меры, но ничто меня так на суде не унизило, как эта судейская чистота, уже недоступная мне, провонявшему «бормотухой» и нечистой заплесанной землей большого города.

Судья что-то спрашивал, я вставал со скамейки и отвечал, а что, не помню. Помню только обиду. Вот придет судья домой, чай расположится пить, домашние, естественно, с вопросами, кого, за что судили. Да ничего особенного, скажет, так, мол, алкаша определяли. А если бы я старушку какую-нибудь пришил, да и дочку впридачу, уж тогда бы наохались, наудивлялись, откуда берутся такие изверги. И замок на ночь на все обороты закрыли бы и цепочку не позабыли набросить.

Ничего интересного на суде я не увидел. Врезался лишь в память инвентарный номер скамьи подсудимых. Этакая восьмизначная хохма, но почему она сделана на виду, этого я так и не понял.

Главного врача пришлось ждать, и время прошло для меня в тупом созерцании приемной, где на стенах угрожающе змеилась антиалкогольная агитация, пока властной походкой, которая сразу изобличала в нем хозяина, не вошел румянолицый человек с глазами, размытыми минусовыми диоптриями круглых очков. Из-под расстегнутого халата на нем виднелся мундир офицера внутренних войск.

— Новенький? — определил сразу доктор. — Заходите, будем знакомиться.

Потом я узнал, что главврач был единственным человеком, который говорил нам вы, остальные были проще и грубее, но к ним мы относились лучше. А этот эскулап мог назначить такой курс лечения нарушителя режима, что мало не покажется. Мог заколотить в гроб одним махом, зарыть в могилу, подержать на том свете недельку и снова вынуть на свет божий.

Я был наслышан обо всех этих ужасах и последовал за доктором на негнущихся от страха ногах.

— Так! Так! — баском рокотал главврач, перелистывая данные моего предварительного обследования, заключенные в картонную папку. — Молодцом! Пока у вас все в порядке за исключением того, что привело вас сюда. Встреча наша весьма огор-

чительная, не так ли?

«Врежет сейчас», — тоскливо подумал я, холодея всем телом.

— Исследуем вас более детально, — продолжал доктор, — и назначим рациональный курс лечения. От вас требуется дисциплина и точное выполнение всех врачебных назначений. У вас есть желание лечиться?

— Есть, — скованно сказал я. По правде говоря, я не считал себя больным. Большое дело — загулял на несколько месяцев, другие годами пьют, и ничего.

— Вот и хорошо, — произнес доктор и вдруг резко спросил: — С какого времени вы употребляете спиртные напитки?

Я туло молчал. Доктор, я это сразу понял, был моим противником, нужно было сообразить, как ему ответить, чтобы потом не раскаиваться в поспешно вылетевшем слове.

— Хорошо, — сжалился надо мной главврач. — Сейчас вас проводят в палату.

Дежурный санитар указал мне койку, я потоптался возле неё и огляделся. Палата была пуста, все принудбольные находились на процедурах, и, запахнув полы халата, я подошел к окну и посмотрел во двор. Солнце глубоко запряталось в тучи, моросил мелкий дождичек, налипая на стекла больничного окна. Неуютно и зябко смотрелся двор с отцветшими клумбами, выложенными силикатным кирпичом, чахлыми деревьями, жилыми и служебными постройками.

Слева чернела П-образная брама — железные ворота. Они были открыты, и дежурный наряд пропускал, видимо, пришедшую с работы колонну принудбольных. С линии ворот шеренга в пять человек сделала несколько шагов вперед, дежурный наряд стал её осматривать. Так, по пятеркам, и пропускали всех прибывших. Люди жались под дождем и терпеливо ждали, пока не обшмонали всех, до последнего человека. Раздалась команда, и колонна двинулась к одноэтажному зданию, где была столовая.

За забором, обнесенным сверху колючей проволокой, зеленел темный ельничек, а чуть выше, перечеркивая пригорок, блестело мокрым асфальтом междугороднее шоссе, по которому мчались машины.

Там была воля, но, странно, мне совсем не хотелось туда, где летели, ломая упругий воздух, машины, шли домой с работы люди. Там меня никто не ждал, там все было для меня чужим, там было то, что отвергло меня от себя, заклеило приговором и пригвоздило к позорному для всех нормальных людей трехбуквию — ЛТП, которое по своей сути было загоном, где содержались отвергнутые обществом люди.

### — 3 —

Снился мне лес, молодой весенний березовый лес, когда он особенно хорош: стволы деревьев девственно белы, ветки упруги, а листва нарядно зелена и свежа. Она играет от ветерка над моей головой, мельтешит, бормочет, смеется. Солнце сквозь листву золотыми и пестрыми брызгами обливает молодую траву и прошлогоднюю опадь, редкие островки света колеблются на полянках, а босые ноги упруго чувствуют каждый стебелек и каждую упавшую веточку.

Семилетний, я бегу по лесу, постукивая палкой по березовым стволам, бегу за шумным и нарядным праздничным обозом, где на телегах полно разнаряженных баб и мужиков. Все они под хмельком, орут благим матом, вразной: «Запрягайте, хлопцы, коней!..» Иные, соскочив с телег, пляшут набочине проселка под гармошку, топчут подошвами нежный земляничный цвет и метелки подорожников. Жарко, весело, азартно плывет праздник по лесу к месту главного сборища по случаю окончания сева — березовой роще возле тихой лесной речушки.

С моим приятелем Генкой Полевым мы шныряем под телегами возле редких в ту пору машин, захваченные бестолковой суетой гульбища. Нам все внове, занято, интересно. Сабантуй кипит, будто котел с хмельной брагой, готовый вот-вот выплеснуться наружу.

Под старой могучей березой разложил гири наш деревенский силач глухонемой Венька и бросает двухпудовки вверх одну за другой. Он голдо пояса, блестит каменными катышами бицепсов, и мы с Генкой любимся его железной игрой. Подвыпившие мужики подходят к гилям, пыхтя, дотягивают их до пупа, смеясь, бросают и уходят пить водку к своим компаниям, которые расположились на траве среди деревьев и кустов костяники.

В открытом на все стороны кузове «студебеккера» дробно стучат каблуками девахи из соседней деревни. В толпе я замечаю тубетейку моего дяди. Он недавно демобилизовался и теперь трется там, где табунятся девки.

Лес набит телегами и машинами, с которых торгуют всячиной, в основном закуской и вином. Ларьков целая улица: добротных, сколоченных из теса, брезентовых палаток и просто под открытым небом на столах. Продавцы с надрывом кричат и озорничают, перехватывая друг у друга покупателей. Многие из них уже пьяны со

вчерашнего дня и куражатся. Волна хмельного разгула начинает свой разбег, и не дай бог ей превратиться в повальное мордобитие. Пока еще относительно спокойно, но уже каждый умнее всех, сильнее всех и богаче всех. Со всех сторон галдеж: «А я!.. А я!.. А я!..»

Раньше других торгашей купеческий загул овладел сельповским продавцом из заречной деревеньки. Он вдребезги пьян, офицерская фуражка чудом держится на голове, зацепившись за правое ухо, усы в пивной пене.

— Эх, налетай, подешевело, расхватали, не берут! — орет он мокрогубым ртом и, обозленный, что на его кураж никто не обращает внимания, начинает швырять в толпу связки баранок, конфеты, бутылки водки и вина.

Толпа свистит, гогочет, те, кто понаглее, хватают дармовое угощение. Всем безудержно весело, каждый открыт, распахнут на все четыре стороны света, каждый счастлив, — гуляй, рванина!

Мы с Генкой опасливо стоим в стороне, и под ногами у нас матово полощется брошенная ухарем-купцом бутылка водки. Но вот Генка быстро нагибается, хватается ее, прячет за пазуху, и мы даем стрелка вглубь леса.

Песни, гам, крики остаются далеко позади. Мы падаем на траву. Генка достает бутылку. Ее горлышко, оплавленное хрупким сургучом, притягивает наши взгляды. Наконец, Генка решается и с размаха бьет ладонью по донышку бутылки, водка запенивается, но пробка не поддается.

— Если бы в сапогах были, — солидно говорит Генка, — так можно и об подошву. Но ничего, сучком откроем.

Он отколупывает сургуч, вынимает картонную пробку и начинает пить прямо из горлышка. Затем бутылка перекочевывает ко мне, обжигающая жидкость пронзает меня всего насквозь, и глаза застилает пелена кровавого цвета тумана...

— 4 —

Последние месяцы я прожил в пьяном кураже. После провала на выставке моей скульптурной композиции, которую я хотел представить на ежегодной областной выставке, у меня опустились руки и на душу накатило ленивое равнодушие. Пусть я работал обыкновенным форматером в скульптурном цехе и мое дело было простым — увеличивать бетонное поголовье памятников, которыми обзаводились даже самые глухие деревушки области, но я знал, что моя творческая работа была неплохой. До меня еще никто не использовал форму противотанкового «ежа», чтобы переплести воедино две фигуры павших солдат и третью — рвущуюся ввысь Победу.

Я бился над этой композицией два года, наконец, сделал удовлетворивший меня эскиз, а выставком, эти обремененные спесью и почетными званиями маститые художники, лишь мельком глянули на неё и отвернулись.

— Бред какой-то! Без художественного образования, а пытается что-то сделать!

Моя творческая судьба решилась в одну минуту, и я задумался, как жить дальше? Тридцать восемь лет, незаконченный индустриальный институт, жена, дочка, форматер и скульптор-самоучка. Я сидел в скульптурном цехе, где пахло сырой глиной, и тосковал. «Вот и все, — подводил я итог, — к чему я пришел, и стоило ли для этого надирать душу?»

Меня точно кинули в польню, чтобы я там понял, какой мне уготован в жизни шесток. Я всегда был великим путаником, склонным к завиральным идеям, и спотыкался там, где другие шли и не глядели себе под ноги, а для меня обязательно находилась ямина или кочка. Так получилось и с моим эскизом.

Однако нашелся и добрый человек, после выставкома ко мне подошел скульптор Стекольников:

— Не горюй, Иван! Мы с тобой и без них пристроим твою работу. У меня есть один колхоз на примете. Тамшний председатель давно мечтает занять памятник, но не такой, как у всех. А работа твоя отменная, это я тебе говорю.

Памятник для колхоза с помощью Григория Аверьяныча я поставил. В две натуры, достойный получился монумент. И деньги хорошие получил. Жить бы можно, но во мне что-то надломилось с того злополучного выставкома. Мужики травят анекдоты, все смешно, а мне грустно. Смотрю на жизнь, на людей, на деревья, на цветы, на облака, на звезды, и нет у меня ни к чему прежнего живого интереса, ржавчина какая-то в душе завелась, и сквозняком стало ее обдувать, будто она высунулась наружу.

Я и к жене тоже потерял всякий интерес. Иногда сижу дома, Зинка на кухне что-нибудь готовит, пройдет туда-сюда, а я смотрю и думаю, а зачем это все мне, какая-то посторонняя баба ходит, что-то с меня требует?.. И дочка туда же. Еще год-другой в понятие женское входить станет и отшатнется от меня, возьмет сторону матери. И так уже сидят вечерами и все тадычат о платях, кофточках и прочей ерундистике.

Не понимал я тогда, дурень, что это не тоска ко мне стучится, а беда ломится, да

еще какая. И раньше вино лилось, а после неудачи с выставком стал я все чаще выпивать. Не то чтобы в большую охотку пил, но и без отвращения. Выпьешь, вроде отмякнешь душой, жить вроде хочется и на сердце не пасмурно.

– 5 –

– Я знаю, что вы мне хотите сказать, – предупредил врач готовый вырваться у меня протест. – Что вы здоровы, что к водке вас не тянет и не будет тянуть. Увы, но это не так. Мы обязаны вам помочь выработать установку на отвращение к спиртному. Так что не обессудьте. В шестнадцать часов проведем первый сеанс.

Так началось то, о чем и вспоминать не хочется. Каждый день в течение месяца я получал укол, потом брал в руки тазик и шел в соседнее помещение, похожее на баню, где с отвращением выпивал полстакана водки и ждал, когда меня начнет тошнить отвратительно воняющей слизью. Сердце мое трепыхалось по-лягушачьи, руки и ноги наливались то холодом, то жаром, и временами было так плохо, что, казалось, сама смерть опалает своим дыханием душу, а водка пахнет могилой.

Курс лечения был целенаправленной дрессировкой, которую не выдержало бы ни одно животное, ни один даже самый сильный зверь. Но мы были люди, и болезнь наша была человеческой.

Увильнуть от «рыгаловки» не было никакой возможности. Но внутренне я сопротивлялся всему, что со мной делали, и лишь громадным усилием воли подавлял в себе готовую вырваться наружу вспышку бунта.

По ночам, когда от сердца понемногу откатывала тяжесть, я ощущал уже не приливы ярости, а тоскливую жалость к самому себе и ничем не заполненное чувство одиночества. Именно в эти бессонные часы я вел безжалостный счет всему, что со мной случилось в жизни, счет всем своим поражениям и ошибкам, которые в конечном итоге загнали меня сюда, в зону изгоев. И в эти часы чаще и больше других мне вспоминался день, который, как я понял только теперь, оказался для меня роковым.

– 6 –

Человек, от которого на ближайшие два года полностью зависела моя судьба, был лейтенантом внутренних войск. Внешне, кроме высокого роста, он был, пожалуй, ничем не примечателен, разве что только его лицо выделялось среди наших бледных, потрепанных физиономий здоровой краснотой и жесткостью.

– Вот, знакомьтесь, – сказал капитан Попов, когда мы с Бывалиным зашли к нему в кабинет. – Ваш начальник отряда лейтенант Зубов. Любите его, и он вас пожалует, как родной отец; пряником или ремешком. Итак, – продолжил он, когда мы осторожно присели на стулья, – ваше первоначальное лечение закончено. Теперь вы поступаете в отряд, а в больницу будете приходить по персональным вызовам для лечения и обследования.

Лейтенант Зубов испытующе поглядывал на нас, держа в руках папки с нашими документами. Взгляд у него тяжелый и немигающий, не глаза, а два дульца, и такие мутные, что невозможно угадать, чем они выстрелят. Под этим взглядом я невольно заерзал на стуле, а Бывалин закашлялся.

– Поп? – поинтересовался лейтенант, перелистывая тощее дело Ерофея Кузьмича.

– Бывший священнослужитель, – смиренно ответил Бывалин. – Могу и по сапожному делу, и по столярному, а если что, и по печному. Голландки и другие печи знаю...

– Как же это тебя, батюшка, угораздило? Ну и дела! Кого только у меня не перебивало, а священнослужителя, хотя и бывшего, первый раз лицезрею, так, что ли, по-вашему?

– Дела людские, – неопределенно и по въевшейся в его натуру привычке говорить витиевато ответил Ерофей Кузьмич.

– У меня чтоб без этого, – подытожил разговор лейтенант. – Без всяких религиозных штучек. Здесь мой приход. Понятно?

– Понятно.

– Что понятно?

– Каков поп, таков и приход.

– Правильно, – не обиделся начальник отряда. – Позже решим, куда тебя девать.

– Ну, а ты, браток, – обратился ко мне лейтенант Зубов, – как ты докатился до такой жизни? Бывалин, понятно, отсталый элемент, образование – с братом на двоих один букварь искурили, а ты? Почти закончил институт, работал в скульптурном цехе художественного фонда и попал в наши помои.

– Случайно, – ответил я.

– Не надо, Конев, ля-ля! Ничего в жизни случайного нет. Все в жизни определено от сих и до сих. А если ты за рамки выхлестнулся, то держи ответ. В отряде я случайностей не потерплю. Не отлынивай от работы, не нарушай режим и освободишься по

половине срока. Это и тебя касается, Бывалин, — лейтенант поднялся со стула. Вслед за ним встали и мы. — Сейчас шагом марш переодеваться и в отряд, — сказал Зубов. — Вот туда, — он указал в окно, и мы увидели барак, возле которого толпились одетые в черное люди. — Ты, Конев, сразу зайдешь ко мне, я тебе дам поручение.

— Какое поручение?

— Лишних вопросов не задавай. Стенгазету надо сделать. Или ты забыл, что скоро октябрьские праздники?

— Так я рисовать не очень. Могу еще лепануть кого-нибудь, хоть вас.

— Ну, до меня еще дойдем, — улыбнулся Зубов. — Сначала я тебя слеплю. А рисовать, не ври, ты умеешь, а не умеешь — научим, не захочешь — заставим!

В хозчасти, отстояв очередь, мы получили кирзовые сапоги, портянки, нижнее белье, хлопчатобумажные рубы, телогрейки и шапки. Все это было ношенным и застиранным, воняло санобработкой.

Кладовщик обладал наметанным глазом и сразу определил, что мы новички в заведениях подобного рода, поэтому не церемонился с нами: выкинул вещи и захлопнул деревянное окошко.

Мы стали переодеваться, но Бывалин утонул в своей робе, а мне она была коротка. Сапоги старику были велики, он резонно заметил, что скоро зима и пара лишних портянок ногам не повредит.

Я нерешительно постучал в окно.

— Урод! Размажу по стенке! — заорал обмундировщик и с треском захлопнул окошко.

— Ты бы, мил человек, не ругался, а вошел в положение, — сказал Ерофей Кузьмич.

— Ну, ладно у меня на вырост одежда, я согласен, а он-то не усохнет, имей совесть.

Окно резко распахнулось, и из него вылетел сверток, перевязанный крест-накрест брючным ремнем.

Переодевшись, мы вышли на улицу. Было солнечно и морозно. Деревья стояли опушенные белым чутким инеем, и наши сапоги глухо стучали по заледеневшей земле. Здание, в котором нам предстояло жить, было одноэтажным кирпичным баракком с пристроенным к нему деревянным тамбуром. Возле входа стояла врытая в землю бочка с окурками. На торце здания во всю высоту каким-то лечившимся здесь художником был нарисован плакат: огромная бутылка с водкой, откуда выползал разъяренный зеленый змий.

— Где отряд лейтенанта Зубова? — спросил Бывалин у мужиков, куривших возле входа.

— Здесь, Ерофей Кузьмич! Здесь, дорогой! — засмеялся высокий парень в надвинутой на лоб ушанке, и мы узнали в нем Костю-хоккеиста. — Пошли, я сегодня дежурный, так и быть, местечко по благу организую. У нас здесь, как в плацкартном вагоне, — пошутил Костя, открывая дверь в казарму, откуда на нас пахнуло кислятиной. — Двухъярусная система, и низ, как всегда, занят, вот только одно местечко.

— Это для Ерофея Кузьмича, — сказал я. — Старикам везде у нас почет.

— Ну а ты выбирай любую свободную верхнюю. Для вещей вон тумбочка. Шило-мыло и прочая чепуха, — вошел лейтенант Зубов, и Костя встал навыгяжку. — Товарищ лейтенант! Вновь прибывшие Конев и Бывалин устраиваются на новом месте.

— Пускай гнездятся. Бывалин!

— Здесь я, — ответил Ерофей Кузьмич.

— С понедельника в хозчасть! А ты, Конев, на завод в первую смену. А сейчас ко мне, получишь бумагу и краски.

В кабинете начальника отряда работал телевизор. Я не видел этого чуда цивилизации уже несколько месяцев и почти с радостью уставился на Горбачева, который вдохновенно вешал лапшу на уши работягам какого-то завода.

— Ты, Конев, автоматически попадаешь в актив отряда, — сказал лейтенант, выдавая мне рисовальные принадлежности. — Стенгазета — важный фактор самовоспитания принудбольных. Так что давай остро, без снисхождений, бичуй недостатки. А они у нас есть. Вот этих обязательно отобрази, они сейчас в карцере, Синюгин и Дроздов. Они, работая на разгрузке вагонов, купили вина и нажрались вдрызг. Вот такой факт. Бери карандаши, краски и ступай, трудись.

Я не стал тянуть с заданием и принялся за работу. Писать буквы мне было всегда трудно, и я хотел уже взять другой лист, но подошел Костя и сказал, что вышло здорово. Издевки в его словах я не заметил и еще раз оценивающе глянул на свою работу. Буквы не вихлялись из стороны в сторону и были примерно одной высоты и толщины — работа годилась, а на премию я не замахивался.

Костя примостился рядом со мной и смотрел, как я начерно карандашом набрасываю сюжет, заказанный начальником отряда.

— А ты ничего, можешь, — одобрительно хмыкнул он, наблюдая, как из-под

моего карандаша появились наброски, повествующие о злочлечениях Синюгина и Дроздова. Особенно понравился ему последний, где поллитровка тащила упирающихся нарушителей режима в карцер.

— Обидятся ребята, — раздался за моей спиной знакомый голос. Это был Степан Федорчук. Он пришел с завода после первой смены.

— Ну и что, что обидятся, — ответил за меня Костя. — Он ведь не виноват, его лейтенант заставил.

— Так-то оно так, а все же, — со значением сказал Степан. — Я вот тоже хочу поучастовать в стенгазете. Можно?

— Почему нельзя, — ответил я, отложив в сторону перо с тушью, которым обводил контуры рисунка.

— Стихи у меня есть. Разоблачающие в корень это самое пьянство.

— Да ну! — изумился Костя. — Я думал, ты слесарюга, а ты, оказывается, и поэт.

— Да вы не бойтесь, я уже их Зубову читал, — сказал Степан, вытаскивая из кармана штанов замызганную бумажку. — Вот, слушайте.

*Я водку пил, закусывал селедкой,  
Курил табак и снова водку пил.  
Потом рыгал почти голимой водкой  
И, прорывавшись, снова водку пил.*

*Терял сознание, опьяненный ядом,  
Наутро вновь бросался на вино.  
Глядел на жизнь я равнодушным взглядом,  
И как живу, мне было все равно.*

*Я в личной жизни многое изгадил,  
Как вспомню, так охватывает жуть.  
Теперь я протрезвел в родном отряде  
И выбрал исправленья верный путь.*

— Вот это да! — поразился Костя. — Ты, оказывается, не просто слесарь, а поэт, как Володя Высоцкий!

Степан самодовольно улыбнулся.

— Это что! Я и еще могу, времени нет, сейчас одну рацуху толкаю. У меня к тебе просьба, — обратился он ко мне. — Там, где слова «в родном отряде» и про исправленья верный путь, выдели красным цветом. Можно?

— Зачем тебе это? — спросил Костя. — Думаешь, бабла отсыпят?

— Да в деньгах ли счастье, — отмахнулся Степан. — Не соображаешь? Скоро седьмое, баба приедет на праздники, хочу получить на сутки свиданку. Ради этого и стишки написал.

— Прогнуться решил перед хозяином?

— Это как знаешь считай, но хочешь жить — умей вертеться, это не мной выдуманно.

— Ладно, — сказал я, — будет тебе красным цветом.

В бараке стало шумно: явилась с кирпичного завода самая многочисленная первая смена. Несколько человек уселись перед телевизором, в котором продолжал кривляться и врать Горбачев. Вдруг он заговорил о высоком нравственном облике советских людей и стал обличать алкоголиков и тунеядцев. Мужиков это задело, они начали покашливать и бурчать, потом послышались язвительные замечания:

— Во лепит! Чего же он про коммунизм помалкивает? Его же еще восемь лет назад обещали ввести.

— Они давно уже при коммунизме живут!

— Горбатым евоная баба командует!

Я с удивлением прислушивался к выкрикам, поскольку не предполагал, что за казенным забором может существовать столь широкое свободомыслие. Хотя объявили гласность и так далее, люди не спешили всем этим воспользоваться, не торопились объявлять свое мнение во всеуслышание, предпочитая шептаться на кухнях. Впрочем, их осторожность была нелишней, что подтвердил своим появлением начальник отряда. Он, стоя у открытой двери, послушал выкрики своих недовольных подопечных, вошел и переключил телевизор на другую программу. На экране под классическую музыку закружились и запрыгали фигуристы.

— Охолоньте от политики, — спокойно сказал Зубов. — С коммунизмом разберутся те, кому это положено, а вы заглохните и посапывайте в тряпочку. Разрешаю отдохнуть, ночью свободная смена идет на станцию, разгружать вагон.

Это известие повергло присутствующих в уныние, но не всех. Из казармы

раздалось сразу несколько голосов:

— А с чем вагон?

— С шампанским, — весело сказал лейтенант. — Наполовину с шампанским и наполовину с шоколадом.

— Нет, правда с чем?

— Цемент россыпью, — рассердился начальник отряда. — Всю ночь ведрами будете таскать! — больше вопросов не было. Зубов подошел к столу, на котором лежала почти готовая стенгазета. — А ты, Конев, молоток! — похвалил меня лейтенант. — И вполне талант, такие люди нам нужны.

Начальник ушел, а вокруг меня сгрудились несколько неодобрительно поглядывающих на меня личностей явно бандитского вида: на шеях наколки в виде колючей проволоки, на угрюмых рожах шрамы, руки в карманах и сжаты в кулаки.

— Ну, и что за талант тут у нас объявился? — пробурчал верзила, явный главарь этой шайки, и потянул на себя лист ватмана со стенгазетой. Несколько карандашей упали на пол, но я не стал за ними нагибаться, чтобы не подставить себя под неожиданное нападение: жулики могли ударить исподтишка, для них никаких запретов в драке не существовало.

Честно говоря, угроза заставила меня похолодеть, она была нешуточной и опасной своими последствиями: покажи я слабинку, дрогни, и мой будущий статус в этой стае был бы определен на все дальнейшие два года — где-то ниже плинтуса. Эта опасность помогла мне собраться, в голове появилась легкость и во всем теле ощущение силы.

— Еще не прописался в отряде, — глумливо ломая слова, произнес главарь, — а уже лег под актив. А ты знаешь, что за такое бывает?.. — и он потянулся к моему лицу грязной лапой. Я отшатнулся и сделал шаг назад. — Что, обхезался? Это зря: твое очко должно быть чистым.

Мерзкие слова резанули мою душу наждаком, и я, не замахаясь, ударил обидчика носком сапога в колено. Раздался визг, блатарь рухнул на пол. Но на меня, набычась, кинулся верзила и так долбанул в грудь, что я отлетел к стене, но устоял на ногах и от следующего удара успел уклониться в сторону и ткнул в сопатку другого жулика. В этот момент верзила достал меня крепким ударом в ухо. Я отлетел к столу, где лежала стенгазета и наверняка упал бы на пол, но меня удержал Костя.

— Что за хипеш? Почему разрешение у дежурного не спросили? Кулаками махать идите на улицу или в умывалку, если не боитесь отрядного. У него хватит силы, всем так наставит банок, что никто на задницу неделю не присядет.

С ворчанием и угрозами свора отвалила прочь, а Костя весело хлопнул меня по плечу:

— Это они на каждого новичка наваливаются.

— И на тебя тоже?

— А как же? — ухмыльнулся Костя. — Но я в этих делах битый. Врезал одному в пятак, а другие сразу скисли. А ты молоток — не дрогнул. Но поостерегись: могут еще раз навалиться, так если что, меня свистни.

— Спасибо, Костя, но я как-нибудь справлюсь сам, — пробормотал я, сворачивая ватман. — Кому стенгазету отдать, а то изорвут?

— Неси лейтенанту, — сказал Костя. — У него не пропадет.

Начальник отряда был не один. Перед его столом, опираясь на костыль, стоял Михайлыч, а Зубов поглядывал на него с явным интересом.

— Ну и как ты докатился до такой жизни? — разрешающе махнув мне рукой, сказал он. — Я тебя по «Четверке» знал как отъявленного баклана, а сейчас вижу, что ты свою масть даже не поменял, а потерял вовсе.

— Так жистянка закрутилась, — нехотя вымолвил Михайлыч. — А ты, гражданин начальник, по какому случаю сюда залетел? Неужто проштрафился?

— Бог миловал, — осклабился Зубов. — Кому-то и здесь нужно топтаться. Ладно, ступай да приглядывайся к народу. У меня бригадир на неделе освобождается, так что пораскинь мозгами, как жить дальше.

Михайлыч, покачнувшись, повернулся на больной ноге и, мазнув меня тусклым взглядом, вышел из кабинета.

— Что, уже готово? — удивился Зубов.

— Статейки кто-нибудь без меня прилепит, — сказал я. — Тут поэт Федорчук объявился со своими стихами. Говорит, что вы в курсе дела.

— А как же! — воскликнул начальник отряда. — Сам майор Жернаков в восторге от его стихотворения. Велел перепечатать и отправить в политотдел для использования в антиалкогольной пропаганде. В отрядной стенгазете мы поставим их вместо передовицы. Тут у меня, Конев, мыслишка одна промелькнула, а не использовать ли эти стихи в художественной самодельности, как ты считаешь?

— Не знаю, товарищ лейтенант, — пожал я плечами. — Я ведь не артист.

— По-твоему, я артист, — заметно помрачнел Зубов. — Я вижу в этих стихах большой заряд антиалкогольной агитации. Вот представь: Федорчук звонким голосом декламирует первые две строчки: «Я водку пил, закусывал селедкой», — ну и так далее, а за ним начинают декламировать хором человек пять, нет, лучше десять: «Потом рыгал почти голимой водкой и, прорывавшись, водку в глотку лил!» Это ведь даже не самодеятельность получается, а продолжение медицинской процедуры, которую делают в больнице всему контингенту профилактория. Ну, и как моя мыслишка?

— Надо поглядеть, что из этого выйдет? — сказал я. — Но торопиться не стоит, как бы наша братва от такого номера не обрыгалась прямо в клубе. А почему бы не заставить эти стишки всех выучить наизусть, и пусть их читают вслух по очереди перед строем?

— Мысль интересная, — помолчав, согласился лейтенант. — Но её надо согласовать с руководством УВД, а там нашу инициативу определенно заволокут. Пока обойдемся стенгазетой, — своим дурацким предложением я отвлек Зубова от мысли поручить мне заняться репетициями, и он задумчиво произнес: — Спешка годится при ловле блох. Газету доделай сам, стихи поставь на месте передовицы. Ты как, со своим местом определился?

— Как пришел, так сразу.

— У нас условия неплохие, — сказал Зубов. — В других ЛТП койки в три яруса, отапливаются печками, а у нас комплекс образцово-показательный, один из лучших в стране.

За дверью послышался истошный вопль Кости-хоккеиста:

— Отряд! Выходи строиться на ужин!

Десятки кирзовых сапог застучали, зашаркали по цементному полу, начальник отряда взял со стола шапку и водрузил на свою коротко остриженную голову.

— Что стоишь пнем? Бегом в строй!

Каждый в отряде знал свое место в коробке, кроме меня и Бывалина. Старик кинулся к последней пятерке, но она была полной, и его оттолкнули. Я схватил его за руку и поставил с собой рядом позади строя. Бугру это не понравилось, он перетасовал коробку и нашел нам место по росту.

— Запевай! — скомандовал он, когда мы вполне по-солдатски затопали по асфальту.

*Не плачь девчонка —  
Пройдут дожди.  
Солдат вернется,  
Ты только жди!..*

Пронзительный фальцет запевалы так меня ошарашил, что я замер как вкопанный и получил крепкий тычок в бочину. «Куда я попал? Где мой автомат? Где присяга?..» Нет, это была не легендарная и непобедимая, а орава алкашей, орущих солдатскую песню. И я был одним из этих несчастных, обиженных судьбой людишек, у которых после того, как они пробултыхались в вине много лет, осталось лишь одно временами вспыхивающее желание — набить утробу, чтобы укротить голод. Поэтому меня не удивило, что еду здесь называют хавкой, о чем меня снисходительно уведомил Михайлыч.

Столовая, как это и положено казенному общепиту, на полусотню метров вокруг отвратительно пованивала перекисшим борщом, сгнившей картошкой, капустой и хлоркой. Толкаясь, мы ввалились в нее и по десять человек сели за столы, покрытые клеенкой. На краю каждого стола находился бачок с горячим и чайник, а посередине — высились стопка алюминиевых мисок и лежали ложки.

Мне подтолкнули миску, я ковырнул содержимое и невольно скривился — вареная капуста, на которой лежал ослизлый кусок рыбы. Хавка была та же, что и в больничке, допитания за вредные условия труда на кирпичном заводе нам не полагалось.

— Ешь! — шепнул мне Бывалин. — Тебя объявили в списке рабочей команды, что пойдёт выгружать цемент. Зажмурься и съешь, хотя это почти несъедобно.

Я украдкой огляделся. Мои товарищи по несчастью, не кочевряжась, трескали капусту с хлебом за обе щеки, и я последовал их примеру. Меня ждала тяжёлая работа, от которой я отвык, и заправиться калориями было необходимо.

Обглодав рыбу, я выпил кружку еле сладкого чая с куском белого хлеба и встал из-за стола. Состояния сытости я не ощущал уже давно, и сейчас мой желудок пребывал в недоумении, как от мизерного количества пищи, так и от её качества.

Бугор стоял в дверях столовой и не даваллизнуть из неё тем, кто был назначен в разгрузочную команду, поэтому я отошел в сторону и в первый раз за этот день закурил сигарету. Курево помогло утишить посасывание в желудке, табачным дымом я даже согрелся и, услышав команду на построение, без промедления нашел себе место в строю.

Возле КПП нас ждал автобус, в котором мне посчастливилось занять свободное место. За месяц в карантине я привык валяться на кровати и день, проведенный на ногах, меня крепко утомил, веки от навалившейся на них дремы стали неподъемно тяжелыми. Меня охватило счастливое предчувствие сна, в котором несвободный человек обретает, пусть нереальную, но столь необходимую ему волю. Прошло несколько мгновений, и мне уже нет никакого дела, что в автобусе на переднем сиденьи бодрствует и бдит лейтенант Зубов, я уже выпорхнул из своей клетки и воспарил над сумерками человеческой жизни в бездонную высоту, с которой, как на ладони, видна моя беспутная жизнь.

– 7 –

К большому для себя удивлению я на разгрузке не простыл и в понедельник, после завтрака, вместе с первой сменой, гремя сапогами по замерзшей дороге и спотыкаясь на комьях грязи, брел к заводу, который находился в полутора километрах от ЛТП. Нас никто не охранял, колонну сопровождал дежурный прапорщик, который шагал в стороне, не обращая на нас внимания.

Над корпусами кирпичного завода, дымной котельной, огромным, похожим на крытый стадион зданием глинохранилища висела пелена плотного предзимнего тумана. От междугороднего шоссе по свертку к заводу ползли грузовики. На железнодорожной ветке пыхтел над дюжиной вагонов и открытых платформ мотовоз, медленно волоча их на территорию завода.

За проходной наша нестройная колонна распалась окончательно, и все стали расходиться по рабочим местам.

– За нашим отрядом, – сказал Степан, – закреплена одна нитка, это две обжигальные печи, сушилки и формовочный цех. Я о тебе с мастером поговорил, пойдешь откатчиком на формовку. В печи жара, а у нас прохладно, да и заработки неплохие.

Степан явно брал меня под покровительство. Он имел легкий и уживчивый характер, никогда не унывал и не киснул от передряг, которые ему выпадали в жизни.

– Зайдем к Кильдымычу, – сказал он, когда мы пришли на формовку. – У сменного мастера забавная кликуха, его зовут Кильдымычем, он постоянно в комнатухе своей, в кильдымчике, сидит.

Кильдымыч был здоровенный мужик лет сорока пяти, с одним глазом и в очках. Он сидел на скрипучем стуле и перебирал на столе производственные бумажки. На нас он даже не посмотрел и на приветствие ответил побряхтыванием.

– Докладываю, – тараторил Степан. – Ночью чуть с кровати не упал, во сне такую красотку мацал, что не хотел и просыпаться!

– Привет, – сказал Кильдымыч, – кормят, видно, вас там одним рыбьим жиром, вот и бьет в голову дурь.

– Так точно! – подхватил Степан. – Сегодня на завтрак минтай подали, так еле проглотил, настолько был жирный, кирза в масле и чай густой, аж ложка стоймя стоит.

– С ума сойти, – усмехнулся мастер, – завидки берут, как вы там жируете.

– Так давай к нам. Спрячем в строй и уведем.

– Да вот беда какая, почки отказывают. Пить нельзя, а у вас трезвенников не берут, – Кильдымыч повернулся ко мне: – Этот, что ли, откатчиком?

– Этот, – ответил Степан и хлопнул меня по плечу. – Ну, я пошел в слесарку.

– Иди в раздевалку, – сказал мне Кильдымыч, – найди себе какую-нибудь спецовку, потом новую выпишу.

В раздевалке было темно и сыро. Узкие, забеленные на всю высоту окна едва пропускали свет, пахло потной непросохшей одеждой, мылом и гнилой застоявшейся водой. Шкафчики для рабочей и чистой одежды стояли вдоль стен вплотную друг к другу. Проход между ними был застелен скользкой деревянной решеткой, которая прикрывала бетонный желоб для стока воды.

Я снял с себя телогрейку, сунул ее в свободный шкафчик, выбрал из кучи наваленной на полу одежды целые куртку, штаны и натянул их поверх своей одежды. В раздевалку заглянул Кильдымыч.

– Ну, что, готов? – просил он. – Пойдем, я тебя проинструктирую, распишешься за технику безопасности.

Черный задымленный пролет цеха придавил меня своей высотой. В воздухе качалась на свету тонкая полоса пыли. Потолок и стены вибрировали от гула невидимых мощных машин.

– Это наверху, на вальцах тонкого помола, – сказал Кильдымыч. – Оттуда глина через течку, вон видишь кожу в потолок, поступает в глиномешалку. В глиномешалке ее пропаривают и заливают водой. Это делает заливщица. Из глиномешалки замес падает в верхний шнек пресса. Там ее перелопачивает вал и спускает в нижний шнек, где тоже есть вал, наподобие как в мясорубке. Под сильным давлением брус глины вы-

ходит через мундштук, видишь, вон деревянный, водой поливается. Полуавтомат рубит брус на кирпичи, которые ложатся на рамки и катятся к шагающему устройству. Оно подает рамки с кирпичом на подъемник, ровно десять штук. Тут уж начинается твоя работа... — Кильдымыч взял меня под руку и подвел к подъемнику. — Конечно, нужно было бы тебе с денек поучиться, поднатаскаться, да вишь, как получилось, — виновато пробурчал он. — Некому работать. А бабу не поставишь. Хоть и выносливые они, бабы, а рычаг отжать не могут, мужицкая сила нужна. Будешь рамки на рожки сажать, целясь аккуратнее. Отжимай рычаг осторожнее, руку от себя немного отводи, а то саданет по кумполу, не приведи господи! На вот, распишись... — Кильдымыч достал из внутреннего кармана широченной куртки свернутый вдвое засаленный журнал, вытащил из-за уха очиненный карандаш и, написав мою фамилию, дал мне расписаться. — Степан! Степан!.. Ну-ка, поди сюда!.. — позвал он слесаря.

— Ну, что тебя разобрало! Чего надо? — Степан недовольно высунулся из-за прессы.

— Иди сюда! — голос Кильдымыча перекрыл вой начавших набирать обороты электромоторов.

Задержавшись, чтобы показать, как ему некогда, Степан подошел. Он был расстроен: можно было бы сейчас, когда запустят пресс, запереться в слесарке и заняться шабашкой, а надо какое-то время побыть возле нового откатчика, чтобы помочь ему освоить нехитрое ремесло.

— Подучишь нового откатчика! Смотри, аккуратнее, — приказал Кильдымыч.

— А это? — Степан пощелкал пальцами. — Детишкам на молочишко...

Кильдымыч побагровел, видимо, хотел выругаться, но сдержался и, повернувшись всем телом к Степану, проворчал:

— Запишу.

— 8 —

Через месяц я всё-таки втянулся в ритм новой жизни, тело окрепло, сердце перестало тарыхтеть в груди, ночные кошмары отступили, сон стал крепким, каким только и может быть у человека со спокойной совестью, но вот как раз с ней-то у меня были серьезные заморочки. Ведь что только ни вспомню, то словно обожгусь: и тут я был неправ, и здесь вел себя как хам и подонок — словом, ни одного светлого облачка на улыбающем горизонте моей жизни.

Я был одинок, но это одиночество не тяготило меня, скорее наоборот, как, впрочем, и других. Во всяком случае, тут можно было услышать разговоры о чем угодно, только не о своих близких. О них мы предпочитали молчать, каждый перемалывал свою боль в одиночку, поскольку у каждого она была своя. И никто не лез к другому в душу, это если и случалось, то доходило до мордобоя.

Кого только среди нас не было, каких только людей не собрала здесь пьяная судьба, и у каждого была своя кривая дорожка, у каждого имелась изломанная и запутанная планида. Враньё, что пьянство стирает личность, так можно говорить о людях, которые пьяны, но стоило нам отойти от похмелья, чуть подлечиться — у каждого сразу проявилась своя физиономия, свой нор, пусть и дурацкий, но свой.

Самую мутную прослойку в отряде составляли бывшие уголовники и никогда не работавшие бичи. Эти ничего не знали, ничего не умели и ничего не делали. Лишенные свободы и вина, они все свои силы употребляли на то, чтобы увильнуть от работы, достать чаю и зачифирить, а после покуражиться, но так, чтобы не узнал лейтенант Зубов. Доставали они и вино, и водку, правда, это случалось редко, но все же случалось. К тем, кто не знал настоящей зоны, они относились с презрительным превосходством и затирали всех, кто был послабее и не мог дать отпор.

Блатная шушера сделала ещё одну попытку навалиться на меня кодлой в умывалке, где я курил после отбоя. И худо бы мне пришлось, не поспей на выручку Костя. Вдвоем мы их порядком отвалтузили, и с той поры они от меня отстали, но я крепко помнил, что от блатоты надо держаться в стороне и не подставлять ей спину, чтобы не получить в неё нож или шило.

В столовой они первыми бросались к бачку, который стоял на столе, старались урвать себе более сытные куски, из-за чего случались стычки. Михайлыч, которого назначили бугром, первым делом навел в этом вопросе порядок, но и ему это удалось не сразу и пришлось об кое-кого разбить свои кулаки.

Мы работали пять дней в неделю. Суббота и воскресенье считались выходными, но и в эти дни частенько случались авралы, и мы шли на разгрузку вагонов или в другие места, где требовалась наша помощь. Для райцентра мы делали много: копали траншеи для отпления и линий связи, разгружали уголь и дрова, помогали строить больницу, и районное начальство было в восторге: так повезло не каждому району — иметь под боком в своем распоряжении несколько сотен крепких безотказных работников.

Дни шли, высыпаясь по одному из того мешка, с которым отправил меня сюда народный суд, набив его полным под завязку сроком. Прошли октябрьские праздники, в начале декабря, перед Днем Конституции, наконец-то лег снег, и у нас прибавилось хлопот, мы расчищали территорию зоны, дороги и железнодорожные пути.

Морозы уже доходили до двадцати градусов, и формовочный цех продувало вдоль и поперек, но Кильдымыч расстарался и где-то спер, наверно у выгрузчиков кирпича, и подарил мне обрезанные по щиколотку валенки и просторную и не продуваемую никаким ветром куртку из мягкого и толстого брезента, чтобы я не простыл и не сорвал своей болезнью график социалистического соревнования со сменой, которая заступала после нас.

Никогда не мечтал стать маяком и ударником, но пьянка до чего только не доводит слабовольного человека, вот и мне пришлось побывать в передовиках и даже получить из рук Зубова переходящий вымпел, и моя унылая физиономия украсила почетную доску ЛТП.

Начальство на меня положило глаз и вскоре снабдило еще одним увлекательным поручением, назначило агитатором по выборам народных судей. Для меня это стало большой новостью. Я думал, что все принудительные лишены избирательных прав, но они и за колючкой на кирпичном трехметровом заборе продолжали числиться полноправными советскими гражданами, вот такой юридический шарж.

Однако нас это не колебало совсем, нам и без понимания своего юридического статуса было ясно, что нас загнали сюда не из-за каких-то высших соображений, а чтобы мы своим босаяцким видом не портили картину социалистического благоденствия, с его воспетым литературными и прочими корифанами непогрешимым «облико морале». Но, кажется, главное значение имело использование нашего труда, почти рабского, на плантациях кирпичного завода и в других местах, где отказывались работать добропорядочные люди.

Капитан Шишков объявил меня агитатором с таким апломбом, будто наградил орденом Святого Ебукентия, специально учрежденным Минздравом и МВД для таких положительных личностей, как я, с надписью золотом по красной эмали «Исправленному — верить!»

— В воскресенье встреча судьи с коллективом, — сказал Шишков. — А сейчас дуй в избирательную комиссию за листовками и расклей их во всех отрядах, в клубе, больнице и столовой.

— 9 —

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что никто не виноват в том, что случилось со мной, кроме меня самого. И ЛТП — далеко не худшее из того, что неизбежно обрушилось бы на меня, поскольку все мои беды вытекали из моего характера: прожив половину жизни, я так и не усвоил главное, чем надежит руководствоваться каждому человеку — быть таким же, как все, не выделяться из общей массы, не возноситься над другими. Я слишком ценил свое мнение, спешил его немедленно обнародовать, упивался мнимой независимостью и гордился этим. Однако жизнь оказалась много сложнее, чем я предполагал в самых безудержных фантазиях, и гораздо жестче, чем смел я о ней помыслить. К тому же у меня была дурная привычка с ходу подмечать в людях недостатки и сразу давать понять, что знаю им настоящую цену. При этом все хорошее в человеке отменялось. Я предпочитал видеть в каждом скорее плохое, чем хорошее. От этого дурацкого максимализма я не избавился до сих пор. Поэтому не удивительно, что многие от меня отворачивались. У меня было много шапочных знакомых и собутыльников, но никогда не было настоящего друга.

А что можно сказать о моей вполне пижонской манере относиться ко всему, что происходит в жизни, со скучноватой насмешкой, даже издевкой и деланным безразличием? Вот и на своей свадебной вечеринке я сидел с невестой во главе стола и с усмешкой наблюдал за гостями, будто не моя это свадьба, не моя невеста, не мои гости.

Вскоре все захмелели, начали кричать «горько», я холодно и крепко целовал Зинку в накрашенные губы и чувствовал себя так, будто отсиживал время на скучной работе. Я слышал, что говорят за столом, и думал, какую чушь несут все эти случайно собравшиеся люди. В их веселье мне виделся какой-то судорожный надрыв, нарочитость и опять же скука и скука.

— Завидую и поздравляю, — сказал Генка Полев, когда мы курили с ним на балконе.

Я пожал плечами и не ответил. Подгулявшая свадьба переместилась с этажа на улицу. Появилась гармошка, на которой наярывал мой родственник дядя Петя, мои тетки пошли в пляс с частушками, присвистом. Каблуки дробно вколачивались в асфальт, и в руках мелькали разноцветные косынки.

*Растатуриха высока на ногах,  
Накопила много сала на боках!*

Визгливо не в лад пела моя двоюродная сестра Елена, деревянно подпрыгивая вокруг незнакомого мне мужика, но тоже гостя.

Почувствовав, как краска беспричинного стыда заливает мое лицо, я ушел в зал. Там вниманием гостей завладела Раиса Петровна, моя теща. Она демонстрировала не пляшущей части гостей приданое.

— Квартиру отдаю — мало?.. Сама к Федору Матвеевичу ухожу, незачем молодым жизнь заедать. Вот — ковер, сами знаете, четыреста рублей, деньгами — тысячу во-семьсот, две чернобурки, часы электронные, постельное белье — десять комплектов, сервиз китайского фарфора на двенадцать персон — ничего не жалко, пусть живут, радуются друг другу.

— Наш Ваня тоже не из последних, — заугрюмев, сказала моя тетка. — Сколько у тебя, Ваня, на книжке?

— Да хватит вам о деньгах и тряпье! — возмутился я. — Все наше. Угощайтесь, гуляйте!..

Мне было неприятно смотреть, как они пыжались друг перед другом. Не успели выпить по паре рюмок, и поползла изо всех кичливость, загорелось выпятить свою родню и себя на первое место.

Какая скомканная свадьба была, такая и жизнь пошла. Нет, мы жили мирно, без ругани, без сшибок, но была в этой жизни безысходная пустота, раз и навсегда определенная заведенность. Все было известно наперед, дано раз и навсегда. Я бросил институт, стал работать в худфонде, жена закончила учебу и устроилась по специальности, все шло своим скучным до оскомины чередом.

Светлым пятнышком стала дочка, она была и вправду мила, я с ней много играл, водил в садик, мы вместе гуляли, она забавляла меня, но не более. Я мечтал иметь сына, но Зинка не хотела об этом и слышать. Нашу дальнейшую жизнь она норовила построить на свой манер, где беременности и родам не было места, а я проявил слабость и не настоял на своём.

Когда Оленька подросла, и ей уже было где-то пять лет, Зинкой вдруг овладело желание жить «не хуже, чем другие». Я много зарабатывал, в доме у нас все было, но жене не хватало общества, разговоров, общения, она была очень живой, и моя молчаливость ей порядком поднадоела.

У нас стали собираться компании. Зинкины сослуживцы, инженеры и инженерши, вносили в нашу трехкомнатную квартиру суматоху и путаницу, которая меня поначалу забавляла и почти нравилась. Это были беспечные посиделки с небольшим количеством вина и бесконечным чаепитием, танцами, сумбурными разговорами и трепетным исполнением под гитару всякой околomuзыкальной песенной лабуды.

Как муж хозяйки дома я имел то преимущество, что не обязан был участвовать в этом бедламчике, но зато мог слушать сколько угодно, а если надоело, то уходил на балкон или на кухню.

О чем только не говорилось на этих вечеринках! Это был безоглядный и никого не обязывающий треп людей, у которых здоровое тело, сытый желудок и жаждущий утоления зуд на языках. Все они воображали, что идут в ногу со временем, поэтому легко жонглировали именами местных знаменитостей. Некоторые из них бывали у меня дома, их где-то доставала жена, используя свои изо дня в день растущие интеллектуальные связи.

В один из вечеров в нашей квартире появился местный поэт Беркутов, тяжелый рыхлый субъект лет около сорока с наглым прищуром налитых пьяной кровью глаз. Он немедленно завладел вниманием гостей и потребовал спеть хором «Рябину» и сам первый начал песню хриплым простуженным басом. Гости было подхватили песню, но скоро выдохлись — не знали слов.

Беркутов оглядел застолье и сказал:

— Народ вас не знает, и вы не знаете народа, захребетничаете...

Зинка поднесла поэту большую рюмку водки. Он заглотив ее залпом, шумно отдышался, и его понесло стихами. Беркутов читал громко, нараспев, помогая себе энергичными взмахами крепко сжатой в кулак руки.

Ему шумно аплодировали. Взбодренный сорванным успехом Беркутов подобрел, немного раскис и замаслившимися глазами стал смотреть на Зинку, которая, оживляя перерыв, села за пианино. Играла она неплохо, а несколько вещей ей удавались превосходно.

Когда она закончила, Беркутов, тяжело ступая, подошел к ней и стал целовать руку. Я вспилел, но не от того, что кто-то целовал ей руку, а от того, как она это воспринимала. В ее лице появилась этакая томность, ни дать ни взять светская дама.

— Послушайте, — обратился я к Беркутову. — Вот вы о народе толкуете, но ваши

стихи, я думаю, для народа — пустой звук. Так что напрасно пыжитесь. Должности поэтов все давно заняты, как, впрочем, и прозаиков, и художников, и скульпторов и так далее. Для удовлетворения эстетических потребностей народных масс достаточно пяти-шести поэтов, с полтора десятка прозаиков, пяток художников, а всех остальных с легкой душой можно списать за ненадобностью, потому что те, кто нужен народу, давно утверждены отделом культуры ЦК КПСС, и вряд ли вы числитесь в списке бессмертных.

— Это кто? — завопил Беркутов, нависая через стол надо мной. — Как он смеет! Как он смеет судить об искусстве!

— Да бросьте вы, — небрежно бросил я и уточнил, — я гораздо ближе к искусству своими шабашками, чем вы своими стишатами. Впрочем, не буду вам мешать. Продолжайте свои игрища, а я пройду по улице, потолкаюсь среди народа, которого не понимаю, может быть, кого-нибудь и пойму, так соображу с ним на пузырь...

Зинкины сослуживцы и гости, которые знали меня до сих пор покладливым мужем, запереглядывались и негодуяще зашумели. К Беркутову подскочили две девицы и увлекли его разговором. Я пожал плечами, вышел в коридорчик прихожей, сунул ноги в растоптанные туфли и спустился на улицу.

Потолкавшись среди мужиков, которые во дворе играли в домино, я вышел на центральную улицу города к скверу, делившему улицу на две части. Случившееся забавляло меня, правда, к веселью примешивался горьковатый привкус злости, но больше все-таки было смешно. Я не жалел о своей вспышке, женины посиделки уже давно раздражали меня скукой и глупым кудахтаньем по поводу столичных годичной давности новостей, доставленных из Москвы вместе с колбасой фирменным поездом.

Часы на башенке, врезанной в крышу углового дома, пробили девять часов. Я нащупал в кармане ключ от мастерской Стекольниковова и пошел к телефонной будке позвонить домой и предупредить жену, что не приду ночевать.

— Как там у вас? — спросил я, набрав номер домашнего телефона.

— Пьем чай, — беззаботно защелбетала Зинка. — Беркутов на такси помчался за рукописью своей новой поэмы. Приходи.

— Нет уж, — сказал я. — На стихи меня не тянет. Я пойду в мастерскую, может быть, поработаю, а может быть, и усну.

И, повесив трубку, через мутноватое стекло телефонной будки посмотрел на улицу. В кинотеатре закончился сеанс, и оттуда выплеснулась шумная толпа. В туалете я вдруг увидел знакомое лицо и бросился бежать, лавируя между встречающимися.

Это была Валя. Она стояла на углу улицы с молодой женщиной, и я с разбегу чуть не налетел на них.

— Здравствуй, — сказала Валя. — Ты куда это торопишься?

Я молчал, глупо краснея, будто меня застали за чем-то неприличным.

— До завтра. Я пошла, — сказала Валя знакомая и окинула меня с головы до ног запоминающим взглядом.

— Так куда мы спешим? — повторила Валя свой вопрос. — К молодой жене?

— Хватит смеяться, — сказал я, беря ее за руку. — Пойдем со мной.

Она покорно пошла рядом. Мы шли по улице, и я не чувствовал в себе прежнего отчуждения к ней, которое всегда останавливало и отрезвляло меня.

— Куда мы идем? — спросила Валя, крепко взяв меня под руку. — Может быть, ко мне, если ты хочешь?..

— Зайдем в мастерскую, — сказал я. — Это рядом во дворе.

В мастерской — подвальном помещении бывшей церкви — было темно. Я включил свет и помог Вале спуститься вниз по шатким ступенькам.

— Как интересно, — сказала Валя, разглядывая поголовье стекольникововских бюстов, которые он расставил в несколько рядов на стеллаже. — Это твои?

— Нет, не мои, — ответил я и достал из-за ширмы гипсовую голову смеющейся девочки. — Это моя работа.

Валя посерьезнела.

— Дочка?

— Да.

— Сколько ей сейчас?

— Шесть лет.

— Мне нравится здесь, — сказала Валя. — Но уж больно пол грязный. Давай приберусь.

— Не надо. Без толку здесь наводить чистоту, завтра опять гипсом все вымажем.

Мы замолчали. За окном клубился сумрак угасающего летнего вечера.

Вдруг Валя тихо засмеялась.

— Странно, — сказала она, откидывая со лба прядь волос, — и правда, разве не странно, Ваня, что мы с тобой сегодня встретились и сидим здесь?

— Ладно, пойдем, — сказал я, поднимаясь с продавленного дивана.

— Куда? — Валя приблизилась ко мне почти что вплотную. — Подожди, я так давно тебя не видела.

Я посмотрел в ее запрокинутое лицо и, движимый внезапным порывом, поцеловал.

— Не здесь. Только не здесь! — горячо прошептала Валя, прикикая ко мне всем телом. — Я столько ждала тебя! Боже мой, сколько я тебя ждала!

Утром, открыв глаза, я увидел незнакомые шторы на окнах. Вали рядом не было, она хлопотала на кухне, готовя завтрак. Из неплотно притворенной двери тянуло жареным луком. Соскочив с дивана, я натянул на себя штаны и рубашку и стал искать куда-то запропастившиеся носки.

— Вот они, — сказала Валя, войдя в комнату. — Я их постирала.

Не глядя на нее, я пригладил руками взъерошенные волосы и спросил:

— А где дочка?

— В школе... А я позвонила на работу и сказала, что сегодня не буду. Ведь ты не уйдешь, правда?

Мы расстались под вечер, но я пошел не домой, а в мастерскую к Стекольникову. По дороге я купил бутылку вина, и мы допоздна разговаривали.

— Дуришь, парень, — покачал головой Стекольников, когда я рассказал ему о Вале.

— Тут надо решать определенно. А то себя измучаешь и им жизнь перековеркаешь.

Поздно вечером я пришел домой и лег спать в своей комнате. Утром мы с Зинкой мирно позавтракали, будто ничего особенного не случилось. Она похвалилась, что в воскресенье на посиделки придет режиссер драмтеатра, была весела, улыбочива, однако теперь я смотрел на нее другими глазами. Да и сам стал другим.

— Вот что, посиделки можешь продолжать, но я на них присутствовать не хочу, поэтому предупреждай меня заранее, чтобы я уходил.

— Что ж, — холодно глянула на меня Зинка, — может быть, так оно и лучше.

Через несколько дней я перевез к Стекольникову в мастерскую диван, кое-что из вещей и посуды и зажил на два дома. Даже, можно сказать, на три. Человек быстро приспосабливается к тому, что потакает его слабостям, и я сразу же оценил всю кажущуюся прелесть полученной свободы. Я мог вести себя так, как хотел, жить там, где в данный момент находил нужным. Иногда я неделями жил дома с Зинкой, иногда, когда пошли загулы, оставался в мастерской, иногда уходил к Валентине. По возможности я старался скрыть от жены существование этой связи, но она не интересовалась, где я провожу свое время, тем более что почти всю зарплату я отдавал ей, а сам жил на шабашки, которых мне хватало для удовлетворения моих скромных потребностей в дешевом вине и скудной закуске.

Краешком сознания, к которому еще могла достучаться совесть, я понимал, что веду себя недостойно, но меня захватила приятная необязательность в отношениях с обеими женщинами, я даже гордился, что мне удалось создать свой гаремчик, и, не скрою, стал строить планы, как вовлечь в него еще одну, приятную во всех отношениях врачиху, но тут меня так ушибло разгромное мнение выставкома о моей работе, что я забыл обо всем на свете и ушел в загул.

Самым болезненным стало обретение горькой истины, что, сколько бы я ни бился, мне раз и навсегда отведено место скульптора-самоучки, и сопротивляться этому мнению было бесполезно. Оно облепило меня, как липкая паутина, и если когда-нибудь я разорву ее, то еще долго за мной будут тянуться ее смердящие обрывки.

Меня поддерживал лишь Стекольников, но многим помочь он не мог. У него тоже были свои заморочки, и часто его заказные работы худсовет принимал со второго, а то и с третьего раза со всякими придирками и нервотрепкой.

Причины, почему я ему был интересен, Стекольников не скрывал.

— Ты, Ваня, талантлив, — говорил он, когда я показывал ему новую работу. — Вот я и хочу убедиться, что из этого получится. Может талант пробить себе дорогу в наше время или все-таки не может, и мастеру нужно еще и другие качества иметь, чтобы выжить в искусстве?

— 10 —

Прошли октябрьские праздники, затем День милиции и прочих нечистых. Я притерпелся к жизни взаперти, заимел привычку брать книги в библиотеке и развлекался чтением, но черт не забывает своих присных, и как-то на доске объявлений я узрел свою фамилию в кондуите, который ежедневно приносили из больнички. Напоминание о ней меня тотчас перековержило, а желудок стал непроизвольно то взбухать, то сжиматься, готовясь опорожниться в самом неподходящем для этого месте.

— На тебе лица нет, — обеспокоенно сказал, подхватив меня за локоть, Бывалин.

– Сердце?

– Вызывают в рыгаловку, – пробормотал я сквозь зубы.

– Так меня тоже туда требуют, – почему-то обрадованным голосом произнес Ерофей Кузьмич. – Я поэтому и в бараке остался. А тебе на завод в какую смену?

– Во вторую.

– Давай подымим и пойдем на казню.

Федорчуку удалось залежаться на койке после подъема, он с полотенцем и мылом прошлепал мимо нас в умывалку.

– Привет, антисоветчики!

Мы с Бывалиным недоумевающе переглянулись, и когда Степан, подрагивая от холодной воды, выскочил из умывалки, загородили ему путь.

– Это почему мы антисоветчики?

– А кто же вы такие? Из-за вас, да из-за меня тоже, советский народ не смог выполнить главную цель – построить к 1980 году светлое будущее тире коммунизм.

– Хотели построить коммунизм, – проворчал я, – а построили ЛТП.

– Это точно, – сказал Степан. – Не сгодились мы советской власти, она и без нас живет и побеждает.

– Вам что, ребята, говорить больше не о чем? – осадил нас Ерофей Кузьмич. – Не зовите лихо, оно само без спросу явится.

– Алкашам да бомжам чего боятся? – я бросил окурочек в пустое ведро. – Тем более, что Горбачев объявил гласность.

– А кто такой Горбачев? – остро зыркнул на меня припухшими глазами Федорчук. – Ты знаешь, как расшифровывается его фамилия.

– Знаю: Горбатый и башка с заплатой.

– Нет, я по-другому понял фамилию Горбачев: Граждане-обождите-радоваться-Брежнев-Андропова-Черненко-еще-вспомните!

– Скор ты, Степка, на всякую дурь, – неодобрительно покачал головой Бывалин.

– Гляди, не ровен час, черт тебя подтолкнет, и костей не соберешь.

– Черт толкает, а бог подхватывает, – ухмыльнулся Степан, но было заметно, что слова старика его заделали. – Или в сем месте бога нет?

– Вот он, наш бог, – показал я рукой в окно. В штаб, поглядывая в нашу сторону, шел майор Жернаков.

– Это – хозяин, – значительно произнес Федорчук. – Ты после укола не раскисай, у меня нет охоты сегодня на откатке за тебя мангулить.

До больницы от нас было метров сто, и, взяв с собой только шапки, мы добежали до нее и почти не задохнулись. В тамбуре я прислушался: Бывалин дышал гораздо ровнее меня, а у меня хоть и не болезненно, но явно давало знать о себе сердце.

В кабинет главврача была небольшая очередь, мы сели на стулья, и Ерофей Кузьмич тихо сказал:

– Ты с этим Федорчуком будь аккуратнее...

– Как это?

– Да так: обходи его стороной, сдается мне, что он постукивает.

– Ужели так? – заинтересовался я. – И кому?

– Скорее всего, куму, как выражаются знающие люди, и не только ему.

– Значит, от этого у нас нигде укрытия нет, только в могиле? – Бывалин помолчал, потом предложил: – Пойдем покурим.

Капитан Попов был требовательным, и туалет блистал чистотой: крутом белый кафель, никелированные ручки дверей, воздушное полотенце, большое зеркало, щетка для сапог. Большая, вырезанная из березового капа пепельница на треножнике из никелированных трубок курилась от непогашенной сигареты, как жертвенный алтарь, на котором возжигали табачные зловония.

Бывалин оглядел туалетные кабинки и, убедившись, что они пусты, сказал:

– Степан не просто так обозвал нас антисоветчиками, он нас тербил, а сам только и ждал, чтобы мы лягнули супротивное власти.

Подозрительность старика была мне неприятна тем, что он, скорее, был прав, чем ошибался. В Степане меня настораживали суетливость и заглядывание в рот начальству. Конечно, он из кожи лез, чтобы откинуться по половине срока, а может, и раньше, но его рвение слишком бросалось в глаза, и странное дело, и Хорек, и его подручные обходили Федорчука стороной. Это могло говорить об одном: что он не так прост и опирается на чью-то неслабую поддержку.

– Ну, я еще молодой, а тебя зачем мучить? – сказал я Бывалину. – Ты ведь никакого интереса для общественного производства не представляешь.

– Я и сам так же думаю, – вздохнул Ерофей Кузьмич. – Никакого с меня интереса. Пенсийка у меня есть, небольшие деньги, но на трезвую жизнь хватит. Я ведь пострадавший безвинно, хотя, каюсь, попивал не в меру. Но где найти сочувствие?

Попал в машину — и не вырвешься, а тут машина отлажена и на диво зубаста.

— Отлажена, — согласился я. — И раскручена — не остановится.

— Вот и терпи. Самое трудное — это человеку с собой справиться, усмирить себя, подогнать в соответствие с жизнью. У меня характер покладистый — и то вот маюсь, а у тебя натура — еж. Сейчас зайдешь к врачу и диспут начнешь. Поостерегись себя самого.

— Конев! — донесся из коридора голос медпрапорщика, который был у главврача в шестерках. — Ты там не задремал на очке? Попрою на ковер!

— Здравствуйте! Как поживаете? — доброжелательно улыбнувшись, сказал главврач, усаживая меня на кушетку. — Как себя чувствуете?

— Хорошо, — попытался улыбнуться я, но почувствовал, что у меня от страха задревенел язык. — Даже превосходно.

— Вот и прекрасно. А я, знаете, был приятно удивлен, когда узнал, что вы скульптор. Уж вам-то надо знать, что искусство, интеллектуальный труд требуют ясного мышления, алкоголь и искусство несовместимы.

Это заявление доктора, совершенно напрасно, вызвало мой протест.

— Почему же, — возразил я. — Не всегда так, — и я назвал известнейшего скульптора, лауреата многочисленных премий, работы которого были широко известны в стране. — Этот скульптор всегда под станком держит бутылку сухого вина и систематически к ней прикладывает вое время работы. И представьте себе, делает трезвые до скукоты вещи. Кондовый реалист.

— Словом, он совсем не отличается, к примеру, от вас? — благожелательно сказал капитан.

— В принципе, ничем, — брякнул я и сразу прикусил язык, но было уже поздно.

— Интересно, интересно, — сказал Попов, внимательно глядя на меня. — С вами, кажется, все ясно... Ну что ж, если не возражаете, — он хмыкнул, — то продолжим курс вашего лечения.

Такой поворот дела меня совсем не устраивал. Всем нутром я сразу же ощутил судороги, которые корчили меня совсем недавно.

— Может, не надо, товарищ капитан? — жалобно вякнул я. — Я чувствую себя совсем здоровым, честное слово.

— Надо, дружок, надо, — сказал капитан Попов и успокаивающе похлопал меня по коленке. — Вы больны и глубоко больны, уверяю вас. А моему опыту вы, надеюсь, доверяете?

— Я здоров, — повторил я, мучаясь желанием дать доктору какую-нибудь взятку, мол, бюстик ваш слепить могу... Но ничего не сказал.

— К сожалению, вы, Конев, больны, — утвердил свое решение Попов. — Судите сами. Только сейчас вы одобрили поведение скульптора, который во время работы употребляет спиртные напитки. Причем он для вас пример для подражания. Простите меня, но это типичный пример мышления человека, страдающего хроническим алкоголизмом. Причем случай классический. Ясненько?

Бес противоречия, как ни истреблял я его сам и другие, еще жил во мне.

— Неясно, совсем неясно. Я не понимаю, почему я не могу распорядиться собой. Ведь здоровье мое. Кому какое дело, как я к нему отношусь. Оно мое — это тело и все, что в нем есть. Захочу, завтра на себя петлю наброшу, захочу, в вине сторю, и никто мне в этом не указчик.

Попов заинтересовался.

— Да тут целая философия! А не жалко себя-то, ведь жизнь-то одна, другой не будет?

— Я не про себя, а в отвлеченном плане говорю, — сказал я, уже жалея, что затеял этот разговор, но отступить было поздно. — Возьмем усредненного положительного непьющего человека. Бережет он себя, бегаёт утром и вечером от инфаркта, тяжести поднимает, здоров и предполагает жить вечно или бесконечно долго. А в один прекрасный момент — чик! — и ему хребет автобус переехал или он сам на личных непосильным трудом заработанных «жигулях» в столб шарахнулся. И все — слезы жены, венки от месткома, черная рамочка в газете. Спрашивается, зачем бежал, куда бежал, ведь от судьбы не убежишь!..

— Так-так! — подхватил Попов. — А другой пьет всякую дрянь и, глядишь, до восьмидесяти кандыбает, и все ему нипочем, по всем законам природы должен бы умереть, а живет? Так, что ли?

— Ну, так.

— Слабоватая логика, — сказал капитан, подвигаясь ко мне поближе. — Слабоватая, потому что однобокая, логика, заранее оправдывающая то, что противно человеческой природе. Поразмыслите, Конев, и согласитесь со мной, что главное — не сколько

жить, а как жить. Вот в чем дело. Доживет, допустим, алкоголик, хотя это редкость, до семидесяти лет, но что он видел в жизни, кроме грязного стакана да залепанных подворотен? Так, одну серую полосу, утро с похмелья, вечер во хмелю. И это жизнь? Другой трезвый человек за день увидит больше, чем алкоголик за всю жизнь. А польза какая от пьяницы? Никакой, так, человеческий мусор!

— Значит, ему отказано в праве быть самим собой? А что если пьяница хочет быть пьяницей, а не каким-то трезвенником?

— И это липа, Конев, так, дымок словесный. Пьяница социально опасен. Это газетная истина. Кстати, самые трудные — это простые истины. Изолируем же мы другие группы больных. Алкоголики ничем их не лучше, а даже хуже. А насчет того, имеет ли человек право распоряжаться своим здоровьем по собственному усмотрению, скажу, что имеет, но только в сторону его укрепления. Здоровье населения — это богатство страны, и плохо, если оно разбазаривается. Я уже не говорю о том вреде, который пьяница наносит близким и окружающим.

Впоследствии я не раз вспоминал этот разговор с Поповым и во многом с ним соглашался, но далеко не во всем. Вот судьи, например, определяют подсудимому по верхней планке пять лет, хотя можно было дать и три года. Но три и пять — это разница и громадная. Один день, один час, даже одно мгновение могут оказаться в жизни решающими. Сами-то судьи зону не топтали, знают о ней понаслышке. Я, конечно, не предлагаю пропускать предварительно весь наш судейский корпус через мордовские лагеря, прежде чем они будут судить, но знать, чем пахнут тюремные нары, они должны, как и вкус тюремной баланды и уродства лагерного быта.

— Интересно было с вами побеседовать, — сказал Попов. — Вы, бесспорно, умны, но, несомненно, нуждаетесь в лечении. На следующий раз можете ко мне не заходить, а сразу направляйтесь в процедурную. Однако если у вас возникнут интересные мысли по поводу алкоголя и всего, что с ним связано, то милости прошу ко мне, я буду рад вас выслушать и обменяться мнениями, — и врач посмотрел на меня с такой нескрываемой издевкой, что я запомнил этот взгляд на всю оставшуюся жизнь.

Ерофей Кузьмич в кабинете врача не задержался и скоро выпятился оттуда задом, поклонился и нахлобучил на лысину шапку.

— Поторапливайтесь, — сказал прапорщик и зацокал подковками по кафельному полу коридора. — Раздевайтесь до трусов и милости прошу на процедуру.

Я последовал за ним, но каждый новый шаг был для меня заметно труднее предыдущего, пережитые полтора месяца назад мучения в этом приюте скорби и унижений восстали в моей памяти с удручающей ясностью, а неизбежность их повторения была неотвратимой. Искоса я глянул на Бывалина, старик был внешне спокоен, но бледен и покрылся потом, думаю, ледяным, движения его были заторможены, и каждый шаг он совершал с неуверенностью, присущей слепцу.

В раздевалке на крючках висело много одежды, а добрая половина пола была заставлена сапогами. Прапор вынес из чуланчика ведро, наполненное жидкостью, и стал алюминиевой кружкой плескать ее, не скупясь, в голенища сапог. Когда я освободился от своей обуви, прапор не обнес ее своей кружкой и пояснил:

— Капитан велел сапоги обработать раствором формалина, чтобы ноги у алкашей не потели.

Ерофей Кузьмич задвинул свои сапоги под лавку.

— У меня ноги не потеют.

— Сейчас засаңдаю двойную дозу антабуса, и сразу вспотеют! — вспыхнул прапор. — А ну, дай сюда сапоги!

Бывалин насупился и заслонил свою обувь худыми жилистыми ногами.

— Его благородие так шутить изволит, Ерофей Кузьмич, — сказал я. — Отдай ему сапоги, формалином их дезинфицируют от грибковых заболеваний.

Процедурная напоминала банный зал: скамейки, тазики, забеленные стекла окон, деревянные решетки на полу, но все это пахло не мылом, не распаренными березовыми и дубовыми вениками и отсыревшим паром, а нестерпимо воняло водкой, которую прапор разливал в стаканы, а медсестра обходила больных и каждому ставила укол апоморфина в руку.

Дошла очередь и до меня: сначала я получил укол, а затем прапор сунул мне в зубы полстакана водки.

— Пей!

Водка провалилась в меня жгучим комком, не растекаясь по жилам, запульсировала сгустком тепла под ложечкой. От апоморфина зажгло уши, щеки, живот опоясало тесным и понемногу сжимающимся обручем. Я себя чувствовал отвратительно, но Ерофею Кузьмичу было еще хуже: все его тело покрылось бело-красными пятнами, а дыхание стало прерывистым и частым. Внезапно я почувствовал, как теряю зрение, все вокруг потонуло в зеленоватых сумерках, и в них звучал властно-завораживающий

голос капитана Попова:

— Вам плохо! Вам очень плохо! Вас неудержимо тянет облегчить желудок!

С диким утробным воплем вырвало одного, затем другого, и вот уже два десятка мужиков стали корчиться в рвотных судорогах, извергая из себя клубы слизи и пены.

А я все не мог никак избавиться от переполнявшего меня смрада, корчился перед тазиком, и капитан Попов с каким-то диким торжеством приплясывал передо мной, как тунгусский шаман, и вскрикивал:

— Вам плохо! Вам очень плохо!

Но и после облегчения желудка мне стало едва ли лучше, все мужики, кроме меня и Бывалина, отблевавшись, ополаскивали тазики под краном и шли одеваться, а мы находились в прострации. Ерофей Кузьмич тяжело постанывал, а я едва себя сдерживал, чтобы не разрыдаться и не забиться в истерику. Расплакаться было бы последним делом, слабаков здесь не жалели, а затаптывали без пощады и даже с какой-то радостью, видимо, оттого, что кто-то был еще более унижен, чем они, более слаб и несчастен. Поэтому я стиснул зубы и попытался встать на ноги, и мне это удалось со второй попытки.

Санитар приволок резиновый шланг и принялся окатывать помещение водой, и я понял, что нам пришла пора сваливать. Подхватив за локоть Бывалина, я повел его к двери. Старик после нескольких неуверенных шагов окреп и уже не нуждался в моей помощи.

— А кто за вами тазики будет мыть? — заорал санитар и повернул шланг в нашу сторону.

— Иди, — сказал Бывалин. — Я приберусь.

В раздевалке было пусто и холодно, на вешалке сиротливо висели только мои и Бывалина шобаны, из упавшего сапога капал раствор формалина. Я стал торопливо натягивать на себя нижнее белье и трясся от озноба, пока не догадался подпрыгнуть к батарее отопления и упал на нее своей задницей.

— Поймал кайф? — сказал, заглядывая в раздевалку, прапор. — Вали отсюда поскорому и старика прихвати.

— Что, и отдохнуть нельзя? — осмелился буркнуть я.

— Отдыхай! — обрадовался прапор. — Сейчас на рыгальку второй заход будет, я и тебя туда замету, по второму разу.

Из процедурной вышел Бывалин, видок у него был — краше в гроб кладут.

— Крепка советская власть, — мрачно вымолвил старик. — Крепче спирта.

— 11 —

Выборы народных судей были назначены на последнее воскресенье декабря, и я возмечтал лежать на кровати до тех пор, пока не заболят бока, но мне помешал посыльный из штаба.

— Рви в клуб, там замполит икру мечет! — востормошил он меня ни свет, ни заря.

Я помотал сонной головой и с трудом разлепил глаза. В окне морозной наледью были покрыты все стекла, и от стен тянуло холодом.

— Ты меня не видел! — я сунул голову под подушку, но посыльный сдернул одеяло на пол и стал трясти койку.

Михайлыч всхрапнул, как конь, и зло пнул посыльного своим мозолистым копытом.

— Заглохните оба! А ты, Ванька, дуй в штаб или в клуб, но сгинь с глаз долой!

К мнению бугра полагалось прислушиваться, и я осторожно, чтобы не потревожить начальника, оделся, в умывалке несколькими каплями ледяной воды промыл глаза и вышел на крыльцо. Мерзлые доски заскрипели подо мной, и караульный пес, которого на коротком поводке вел прапорщик, повернув в мою сторону башку, сверкнул клыками, но не рыкнул.

Ночью выпал снег, успевший к утру промерзнуть, и сейчас он весело похрустывал под сапогами, будто о чем-то по-своему со мной разговаривал. Над крышей клуба показался край морозного, в протуберанцах зимнего солнца. Дым из трубы котельной вставал отвесным и плотным жгутом, верхний его конец был разлохмачен и слегка наклонился в сторону, противоположную ветру, присутствие которого над землей почти не ощущалось. Мороз был явно за тридцать, у меня стали слипаться от инея глаза, по спине потянуло холодом, будто я прижался к льдине, кирза на сапогах зажелезнела и плохо гнулась, а дверь столовой, которую я едва открыл, закуржавела и захлопнулась за мной с чавканьем, как мокрая пасть голодного чудовища.

В зале все было готово для завтрака. Я подошел к своему столу, заглянул в бачок, взял алюминиевую ложку и бросил в нее черпак синей картошки, кусок рыбы, хлеб и принялся работать ложкой.

— Почему не со своей бригадой? — подлетел ко мне коршуном прапор.

— Замполит Шишков ждёт меня в клубе.

После горячего чая с хлебом и кусочком масла я окончательно согрелся и, скользя на подметках, резво домчался до клуба, где Шишков схватил меня за рукав и подвел к столу, над которым висели буквы «С» и «Т».

— Будешь сидеть на бюллетенях, — сообщил он. — Бухгалтершу на скорой увезли, заменишь. Дело простое: выдавай бюллетень для голосования под роспись, вот листы учета, вот ручка. В гримёрке для членов избирательной комиссии чай, пирожки, конфеты.

— Разве я в ней состою?

— А как же, — сказал капитан. — Тебя избрали еще месяц назад. Так что почувствуй ответственность.

По правую и левую сторону от меня стояли столы, каждый на две-три буквы; к проведению голосования были привлечены женщины из obsługi ЛТП, а из принудбольных всего двое — я и библиотекарь. Мы с ним перемигнулись, он сидел недалеко на буквах «Ш» и «Щ», и собрались покурить, но со сцены Шишков подал команду:

— Объявляю десятисекундную готовность! Девять, восемь, семь, шесть, пять... Громкоговоритель готов? Включай!

Усиленные многоваттным динамиком над ЛТП прозвучали сигналы точного времени. Шесть часов утра. Одна шестая земной суши вступила в яркую полосу освещенности социалистической демократией, которая будет продолжаться до восьми часов вечера.

Забухала входная дверь, и в зал, щурясь от яркого света, вошли со своими женами майор Жернаков, начальник штаба, капитан Попов и начальники всяких служб. Они вполне искренне поздравляли друг друга с праздником, на этот раз днем избрания в народные судьи Ивана Федотыча, закадычного кореша всей этой эмвэдэвской братвы, упакованной по случаю праздника в парадные шинели, хромовые сапоги и сшитые на заказ неуставные шапки из серебристого каракуля.

Начальство проголосовало первым. Жернаков и Шишков остановились недалеко от моего стола, и замполит недовольно пробурчал:

— Из политотдела есть распоряжение строем людей на голосование не водить.

— А у нас что, без этого демократии мало? — удивился майор. — Или ты иностранных корреспондентов пригласил? Тогда, конечно, строем нельзя, а группами можно. Мы ведь имеем дело с большими, а за ними нужно присматривать.

— Да мне все равно, что в лоб, что по лбу, — вздохнул замполит. — Однако перестройка, надо соответствовать моменту.

— Заглянем-ка, политрук, лучше в буфет! — предложил Жернаков. — Надеюсь, у тебя есть что-нибудь соответствующее моменту.

— Как нет! — оживился Шишков. — За одним и позвоним Ивану Федотычу, доложим, что мы его помним и любим.

— Вот это ты верно напомнил! — заявил майор. — А то чуть всю малину не испортил — как голосовать? Как надо, так и проголосуют!

Первым избирателем, который протянул мне свою офицерскую книжку, был молодой розовощекий лейтенант Сергеев, вчерашний студент мединститута, избравший себе в пациенты алкашей и тунеядцев. МВД обеспечивало своих людей лучше, чем Минздрав, и выбор Сергеева был для меня понятен. Отпустив элтэпэшного эскулапа с бюллетенем для голосования, я заозирался по сторонам, прикидывая, как мне куда-нибудь смыться, чтобы насладиться «Примой», первой за сегодняшнее утро. Мои беспокойные оглядывания и ёрзание на стуле привлекли внимание соседки, обслуживающей буквы «П» и «Р». Она была битая лагерная труженица и разгадала мою суету с одного взгляда.

— Что, подымить хочешь? Иди в комнату, что за моей спиной, я тебя подменю. Потом меня отпустишь, а то без курева уши опухли.

В комнате на двух столах и стульях была сложена одежда. Я подошел к окну, приоткрыл форточку и с наслаждением затянулся сигаретой, единственным удовольствием, к которому еще имел доступ. Табачный дым запудривал мозги хмелящим дурманом, растекался приятным покалыванием по рукам и ногам, я докурил «Приму» до тех пор, пока мне не начало жечь кончики пальцев, и сразу же запалил другую сигарету, которую выкурил уже без прежней поспешности, со вкусом, рассматривая кольца и полосы табачного дыма, которые струились в едва открытую форточку.

— Ты там не угорел? — хихикнула соседка. — Сейчас толпа повалит из столовой. Пригляди здесь, а я приобшусь к разврату.

Вихляя тощим задом, она исчезла за дверью комнаты, а я упал на стул и, вытянув ноги, блаженно закрыл глаза. Но долго насладиться покоем мне не дали. Появился некто в белой куртке с подносом в руке и поставил передо мной стакан кофе и очень аппетитную с виду булочку.

— Набирайся, Конев, сил, — бросил в мою сторону, пробегая мимо, замполит. — Сейчас на нас навалится избиратель!

Перед клубом уже стояли два отряда принудбольных, и никому не хотелось морозиться.

— Первый отряд, на голосование справа по одному шагом марш! — разрешил проблему майор Жернаков. — Третий отряд, левое плечо вперед и с песней до котельной и обратно, на голосование!

К регистрационным столам выстроились длинные очереди. Ко мне стояли всего человек десять-пятнадцать, а вот на букву «К» и у моей соседки на «П» и «Р» народу сгрудилось — не пересчитать. Выдача бюллетеней осуществлялась по кивку офицера, который стоял рядом со мной. Содержащийся в заключении полноправный советский гражданин называл свою фамилию, начальник отряда кивком подтверждал ее правильность, далее в соответствующей графе избиратель делал роспись в получении избирательного документа и вставал в другую очередь — к урне, возле которой за демократическим отправлением выборов наблюдал один из офицеров управления АТП.

— Я и не думал, что здесь столько народу, — пробормотал я, с испугом поглядывая на толпу избирателей.

— Ерунда, тут их бывало и больше, — сказала моя соседка, лихо расправлявшаяся со своей очередью и не упускавшая из виду ничего, что творилось вокруг. — Через пару часов мы эту пургу разгоним. Только курить хочется до не могу.

Ни у кого из тех, кому я вручал избирательный бюллетень, в глазах не было ни малейшего интереса к тому, что сейчас происходит. Человек не глядя получал бумажку и, не заглядывая в нее, бросал в обитый кумачовой тряпкой ящик. У кого были деньги, те шли в буфет за сигаретами, пирожками и газировкой, у кого карманы были пусты, те выглядывали, где бы стрельнуть, на худой случай, окурок, второпях домусоливали его и под бравадную музыку и песни спешили в свою барак, где, пользуясь праздничным послаблением внутреннего распорядка, зарывались с головой в постель и впадали в спячку до праздничного обеда с непременною ватрушкой с творогом и кружкой кофе или киселя после лапши с куриными головами и рисовых тефтелей с капустным гарниром.

К двенадцати часам, как выразился замполит, мы отстрелялись, тут же подбили бабки, то есть подсчитали количество проголосовавших «за» и «против», и все, конечно, было в ажуре, о чем Шишков доложил в районную избирательную комиссию. Вся эта колготня заняла около шести часов, но вот я удостоился чести подписать протокол голосования и стал поглядывать в сторону буфета, откуда уже доносились призывные запахи. Однако в званье я не попал, там на столе стояла водка, но мне и библиотекарю вручили по целлофановому пакету и указали на дверь, что меня вполне устроило: я не хотел лишаться своего праздничного обеда, а полученный паек с дополнительным питанием предполагал, что в столовой меня ждет роскошная жратва.

— 12 —

Скульптурный цех и мастерская Стекольниковы были моим последним прибежищем перед тем, как я окончательно слетел с катушек и загремел на принудительное лечение. Они давали мне крышу над головой и, несмотря на мои загулы, довольно приличный заработок. Директор художественного фонда, полковник в отставке, смотрел на мою нетрезвость снисходительно, его даже устраивало, что в ночное время кто-то присматривает за собственностью Союза художников, не требуя себе за это зарплату сторожа.

В столь неопределенном подвешенном состоянии я мог бы прожить очень долго, поскольку в моем существовании выработался определенный ритм жизни, который определялся умеренным, как мне казалось, виноупотреблением. По утрам я нуждался в срочной опохмелке, для этого у меня всегда имелась оставленная с вечера хотя бы половина бутылки портвейна. Я без отвращения и с большим воодушевлением испивал стакан вина, дожидаясь оживления головы, рук и ног, затем ополаскивал под краном измятое и припухшее лицо, иногда брился, заваривал крепкий чай и завтракал тем, что оставалось из закусы от вчерашней попойки.

Вскоре в огромные двери скульптурного цеха начинал кто-нибудь тарабанить: пора было начинать прием посетителей, затаренных водярой или бормотухой. Залетных не было, являлась одна и та же испытанная в винопитии публика из бывших порядочных граждан, но теперь навсегда эмигрировавших в безделье и пьянство изгоев, которых я мысленно называл эксками — эксспортсмены, эксжурналисты, эксвоенные, эксменты, эксуголовники, эксначальники, даже областного уровня, словом, все они, и я тоже, давно уже стали, кое-кто по обстоятельствам, но в основном по собственной слабости к горячительным напиткам, эксчеловеками. Конечно, тогда я так не думал, а широко

открывал дверь и, здороваясь с гостями, ощупывал их взглядом, чтобы понять, какими они явились — пустыми или затаренными. По приносу и был гостям прием, я терпеть не мог тех, кто, даже имея деньги в кармане, норовил сесть на хвост, остограмниться за чужой счет, а потом нагнеть до того, что начинал хвататься за бутылку. Такое поведение не поощрялось, а наказывалось. Поэтому иногда мирный обмен мнениями прекращался, и оппоненты вступали в рукопашную, используя все, что попадет — чашки, молотки, лопаты, табуретки и скамейки, обломки досок и куски арматуры. Однако до большого кровопролития дело не доходило, слабейший, как правило, убегал, чтобы через час явиться с полной бутылкой, дабы распить со своим обидчиком мировую.

Столь содержательная и насыщенная жизнь продолжалась весь день, в перерывах, когда на столе не было вина, я с коллегами по ремеслу занимался работой. Мы снимали с глиняных изваяний гипсовые формы, набивали их бетоном, чеканили поверхности скульптур и прятали свои кувшинные рыла пропойц, когда на пороге цеха появлялись члены художественного совета и заказчики, перед которыми скульпторы и монументалисты начинали исполнять презабавную мизансцену, состоящую из угодливых восклицаний, полупоклонов и подобострастно-гадливых лакейских улыбок.

Наблюдая за лицедейством, мы перемигивались и потирали ладони от предчувствия богатого застолья: скульпторы и монументалисты не жмотничали и накрывали для нас богатый стол, на котором в качестве закуси не редкостью были докторская колбаса, лук и редиска.

Занятый столь увлекательной жизнью, я забывал про свой скульптурный станок, который стоял в мастерской Стекольниковца, и мой учитель напоминал мне о нем язвительным предложением продать его Кеше Огородникову, такому же бедолаге и скульптору-самоучке, как и я, с той лишь разницей, что меня Стекольников пока привечал, а на него порывивал, когда тот только еще всовывал свою седую кудлатую башку в дверь его мастерской.

Укоризненные призывы Григория Аверьяныча раздували слабый творческий огонек, который начинал попыхивать в моей душе, я завязывал с пьянкой, переселялся в стекольниковскую мастерскую и начинал свою настоящую жизнь, но всегда находился случай, чтобы ее прервать и снова пуститься во все тяжкие. В конце концов, это и привело меня на зону изгоев, где я только-только начинал понимать, кто я такой на самом деле, заглянув в свою закопченную пьяными неистовствами едва трепыхавшуюся душонку.

Как-то утром, когда я ничего не смог отыскать на опохмелку, пьяный бес поманил меня в Молочный переулок, где работала банщицей моя соседка по квартире Анна Прокофьевна, у которой я надеялся разжиться трехрублевой бумаженцией на бормотуху. Я не видел ее уже два месяца, с тех пор как оставил квартиру и скрылся, чтобы не мешать Зинке проводить столь ей любезные интеллектуальные игрища в компании с потным и жирным Беркутовым и другими рехиштутыми особями нашего города.

С утра в бане было пусто, но в ларьке кипела бурная околопивная жизнь. От вида многих счастливых людей, посасывающих из кружек пенное пойло, у меня пересохло во рту, но моя чаемая спасительница явилась со столь буйным всплеском эмоций, что я взмолился:

— Анна Прокофьевна, сначала пиво, затем новости, сухота во рту, как в Каракумах.

— Что, налопался винища и болеешь? — она больно ткнула меня костистым кулачком в лоб. — Сейчас отпою!

Я залпом выпил кружку пива, и скоро был готов к общению с Анной Прокофьевной.

— Эх, Ваня! Дурья твоя голова! Где ты заматался, дочку забросил, жену чужим людям отдал? Нет у тебя ни кола, ни двора, таскаешься незнамо где, а к твоей Зинке один такой из себя сякой подкатился. Может, и пропойца похлеще тебя будет, но пока овцой прикидывается, а сам на хряка похож, да ты его знаешь! Сумки за ней носит, авоськи и все воркует, а вы не устали Зиночка, вы нуждаетесь в отдыхе, про слабое существо ей арапа заправляет. Это Зинка слабая? Разъела ряшку — со спины щеки видны, в дверь боком норовит протиснуться, но сегодня завтра в них застрянет, косяки придется вышибать. Да ты пей, Ваня, пиво, надо, еще возьму... — я опрокинул в себя вторую кружку пива, и Анна Прокофьевна выплеснула передо мной еще кое-что про мою супругу. — А намеднись он приперся с цветами и шампанским. Пиджак на нем кожаный, скрипит, как сапоги, штаны голубые, галстук розовый, на мизинце кольцо с камнем, а на макушке беретик присобачен. При параде, значит, и цветы, и борода, и усики. Изогнулся и пальцем в дверь: тук-тук! Зинка точно его ждала, открывает, сама в белом халатике на голое тело коротусеньком и удивление скорчила: не могу, мол, у меня не прибрано, не время... И кому заливать? Ты знаешь, у меня четверо пацанов, и

все от разных мужиков, я-то знаю, когда можно, а когда нельзя...

— Хрен с ней, с Зинкой! — сказал я, допивая пиво. — Пусть распахивает свою ловушку перед кем хочет. А как дочка, здорова?

— Седни со мной здоровалась, — бросив на меня жалостливый взгляд, сказала соседка. — Врать не буду, веселой давно не видела, да и какое веселье, когда на отцовском месте этот боров развалился! А два дня назад, когда мимо их двери проходила, так слышала, как она плачет, а Зинка орет на нее срамными словами. Вот так мы и живем: то плачем, то пляшем...

— Спасибо, Анна Прокофьевна, я пойду.

— Чего заторопился! — всплеснула она руками. — Хочешь, я еще кружечку куплю. Чай, тебе еще не полегчало?

— Не надо, а вот рублик займите. Я верну...

— Можно и без отдачи; береги себя, Ваня!

Я взял рубль у соседки безо всякой мысли, на что его потратить, но выйдя из переулочка на улицу, понял, что его как раз хватит, чтобы доехать до своей бывшей квартиры на такси. Однако я был расчетливым пьяницей и скоро сообразил, что к Зинке я могу доехать на трамвае и, поговорив с ней, куплю две кружки пива, а это был не пустяк.

Старый трамвай, погромыхая на стыках рельсов, неторопливо тащился по городу, а я с всё нарастающим душевным напряжением ощущал, как мной овладевает не имеющее видимой причины болезненное беспокойство, предчувствие душевного срыва, какие со мной уже бывали, когда я почти терял рассудок и под напором закипающей в душе мути совершал непредсказуемые поступки: один раз сорвал в поезде стоп-кран, а однажды с такой яростью налетел на прохожего, который бросил Зинке двусмысленный комплимент, что чуть не забил его до смерти. Я понимал всю опасность своего состояния, но остановиться уже не мог, и когда трамвай подошел к знакомой остановке, я выпрыгнул из него и почувствовал, как меня покидают остатки похмелья, ноги стали сильными и упругими, дыхание — глубоким, и во всем теле я ощутил легкое, похожее на озноб покалывание от избытка переполнявшей меня силы.

Сидевшие во дворе доминошники, увидев меня, переглянулись и зашептались. В два прыжка я достиг их стола и с размаху опустил кулак на фанерную столешницу, которая от удара раскололась.

— Козлы!

Следом слышались какие-то жалобные вопли, у одного старика случился сердечный приступ, но я уже был в подъезде пятиэтажки, мигом взбежал на свой этаж и замер возле двери, прислушиваясь к тому, как в квартире работает телевизор и капитан Жеглов внушает всей стране, что вор должен сидеть в тюрьме, и все законопослушные граждане верят, что так оно когда-нибудь и будет, потому что от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее, советская власть крепка, а милиция беспорочна.

Звонок в дверь у Зинки стал другим: не дребезжащий, как будильник, а мелодичный и музыкальный. На двери появилась цепочка, и моя почти не жена уставилась на меня и спросила:

— Ты зачем явился?

— Разве ты меня выписала? Я уже здесь не живу?

— Да нет, — мотнула кудряшками Зинка. — Заходи.

Кожка, обычно бросавшаяся к моим ногам, чтобы о них потереться и замусолить, смотрела на меня вытаращенными глазами и нервно потряхивала кончиком хвоста.

— Меня явно здесь не ждут, — меланхолично сказал я, снимая туфли. — Зина, где мои тапочки.

— Не знаю! — она выглянула из кухни. — Зачем разулся? Так не мог сказать, что тебе надо?

— Вообще-то я, может быть, и не к тебе пришел, а к дочке.

— Так я и поверила! — фыркнула Зинка. — Подарок, наверно, за дверью оставил.

Не украдут?

Она была права, как же так получилось, что я явился без гостинца, хотя понятно как, все водка... Я запустил руки в карман — пусто, ничего кроме оставшейся от рубля мелочи, полез в задний карман джинсов и наткнулся пальцами на металлический кругляк. Это было моим спасением — пятак из красной меди времен Екатерины Второй. Я его выиграл в шахматы у своего постоянного собутельника инженера-дорожника Юрия Ивановича, который частенько заруливал к нам освежиться сорокоградусным напитком.

— Оля, где ты? — сказал я. — Возьми подарок, — растерянно улыбаясь, дочка подошла ко мне, я положил в ее ладонь монету, затем погладил по голове. — Как живешь? Что в школе?

— Нормально, — прошептала она, и в ее глазах блеснули слезы.

— Ну и что за драгоценность ты подарил своему ребенку? — спросила Зинка и, увидев медный пятак, скривилась. — На помойке нашел? Выбрось, Оленька, эту железяку, она, конечно, заразная.

— Это дорогая коллекционная монета, — едва сдерживаясь, сказал я. — Приобретена у уважаемого человека.

— Знаю я твоих уважаемых собутыльников, — презрительно процедила сквозь зубы Зинка. — Все они — пьянь, рвань и голь, а ты еще хуже.

Неожиданно из зала раздался сытый басок:

— О какой нумизматической редкости вы спорите? Любопытно бы взглянуть.

Меня зазнобило. Это был Беркутов, я шагнул в его сторону, Зинка схватила меня за руку и прошипела:

— Только без пошлых сцен!

Я заглянул в зал и попятился, уязвленный до глубины своего души увиденным: на моем кресле, в котором я любил отдыхать после работы, вольготно развалился, поблескивая лысиной, Беркутов, и на его прыщавых ступнях были мои кожаные, без задников домашние тапочки.

Зинка уперлась и оттащила меня от двери, я вырвался и, сжав кулаки, шагнул в зал. Теперь уже точно бывшая жена повисла у меня на плечах.

— Не смей его трогать! — завизжала она.

— В чем проблема? — повернулся в мою сторону Беркутов. — Я не понимаю, Зинаида, в чем дело?

— Максимилиан, не вмешивайся! — повелительно крикнула Зинка. — А тебе, алкаш, что от меня понадобилось? Зачем приперся? Если за остатками своих вещей, так они в кладовке. Бери и уматывай! — она зарыдала.

— Зина, нам нужно поговорить!

— О чем поговорить?.. Ну, хорошо, иди на кухню, я сейчас, — через несколько минут Зина вернулась, она смыла с лица весь макияж, враз постарела, глаза были сухи и пылали презрением. — Учти, времени у меня нет, скоро придут гости, а я не хочу, чтобы тебя здесь видели.

— Разве я не человек?

— Был бы им, так не докатился бы до жизни такой. Зачем ты явился?

— Хотел глянуть, как вы живете с Ольгой...

— Все увидел?.. А с Максом мы собираемся сойтись.

— Зина, не делай этого.

— Что — не делай? Скажешь: ребенок, семья... А была она, эта семья? Пил, гулял, надо же, творческая натура! А у меня жизнь одна, и я хочу жить, как все люди! — глаза ее подернулись влагой, но разговаривала она со мной так, будто я уже стал для нее навсегда отрезанным ломтем. — Не вздумай меня упрекать, — сказала Зинка и неожиданно скрипнула зубами. — Думаешь, я не знаю о твоих похождениях? Думаешь, ту белобрысую стерву не знаю с машиноиспытательной станции? Знаю! Знаю! Мало мне пришлось из-за тебя вытерпеть унижений? — ее голос неожиданно осел. — Все! Я подаю на развод!

— А Оленька? — жалко вякнул я, цепляясь за ребенка как за последний довод сохранить семью.

— Вырастет, — убежденно сказала, вновь обретя голос, Зинка. — Не одна она растет без отца. Вырастет! — у нее уже было все продумано, разложено по полочкам и расставлено по углам. И места в ее светлом будущем для меня не было. — Алиментов не надо. Проживем как-нибудь. Прошу одного — оставь нас в покое. Не приходи и не звони. У тебя есть к кому уходить, к той же белобрысой гадине. Я с тобой намучилась и сыта по горло, пусть теперь она узнает, что ты за изверг.

— Ужели так легко можно взять и перечеркнуть все хорошее, что у нас было? — сказал я, уже точно зная, что услышу в ответ.

— Можно и нужно. Что было, то сплыло. В наших отношениях ты переступил черту, с которой вернуться к прежним отношениям уже невозможно. А теперь уходи, вот-вот явятся гости.

— Я уйду, Зина, — сказал я, надевая свои растоптанные обувки. — Но позволь мне последний поцелуй, прощальный знак любви сорвать с твоих жемчужных губ?

— Хам, ублюдок! — прошипела Зинка. — Убирайся!

— А вот и мой заместитель! — весело сказал я, протягивая руку высунувшемуся из зала Беркутову. — Давай поручаемся, мой дорогой молочный брат! Желаю тебе здравствовать!

Беркутов шагнул ко мне и протянул руку, но в ответ получил самую здоровенную оплеуху, на которую я был только способен.

— Это тебе за амортизацию моих домашних тапочек!

Зинка наконец-то обрела голос и завизжала так яростно, что у меня заложило уши.

Я на ощупь открыл дверной замок и скатился с лестницы. Под Зинкиными окнами стояли соседи и гадали, что там случилось. Они брызнули в разные стороны, когда я промчался мимо них на улицу, где тормознул такси и ехал, пока счетчик не выстукал девяносто семь копеек, рассчитался с водителем и остаток пути до Ваиного дома прошел пешком.

На площадке первого этажа из почтового ящика с номером ее квартиры топорщились газеты, я поднялся на второй этаж, позвонил раз, другой, третий...

— А Валя уехала в отпуск к своей сестре, — сказала соседка. — С неделю назад. А вы кто ей будете?

Не ответив на этот сложный вопрос, я извинился и вышел на улицу. До работы я доехал «зайцем» и на требование кондуктора купить трамвайный билет терпеливо отмолчался.

Возле входа в производственный цех стоял «уазик». Я прошел мимо него и открыл дверь в мастерскую Стекольников. Григорий Аверьянович окинул меня скорбным взглядом и вымолвил:

— Ну что, достучался?

Я не успел сообразить, что мой учитель имеет в виду, как раздался другой голос, ленивый и тусклый.

— Стало быть, это и есть искомый Конев?

— Он самый, — печально сказал Стекольников. — Что он натворил?

— Обычное дело, — сказал капитан. — На моем участке в квартире гражданки Коневой, с которой подозреваемый состоит в законном браке, избил некоего гражданина Беркутова. На этот счет от потерпевшего имеется заявление, а сам он отправлен на медэкспертизу. Но это еще не все. Имеется заявление от пенсионера Зыкова, что Конев ударом кулака сломал стол, за которым сидели игроки в домино, а сам Зыков испытал сердечный приступ, что подтверждается вызовом скорой помощи. И последнее, самое важное. Имеется недельной давности заявление от гражданки Коневой, что ее муж систематически пьянствует, дебоширит, создает невыносимые условия для их совместного проживания. Эти факты подтверждаются свидетельскими показаниями соседей и уведомлениями из медвытрезвителя, который Конев в этом году посетил уже трижды.

— Как у вас все ловко получается! — покачал головой Стекольников.

— Стараемся, — хмыкнул капитан. — А теперь, гражданин Конев, прошу предъявить свой паспорт.

Я подошел к полке, где хранил свои эскизы и наброски, сделанные в карандаше, вынул из-под стопки листов свой серпастый и молоткастый и протянул менту. Он его полистал и положил в папочку с моим делом. Изъятие паспорта означало, что клетка за мной захлопнулась, но я этого не понимал и ждал, что произойдет дальше.

— Прошу в машину, — капитан был безукоризненно вежлив. — С собой ничего не брать, через пару часов вы вернетесь.

— Куда вы его забираете?

— На экспертизу к наркологу. Но уже и козе понятно, что Конев хронический алкоголик. Но суду это на пальцах не объяснишь, ему надо официальное заключение.

— А дальше?

— Наверняка срок в ЛТП, один или два года, но в последнее время всем дают по верхней планке. Не волнуйтесь, товарищ Стекольников, суд не сегодня, а через пару дней, так что вы со своим товарищем успеете попрощаться.

### — 13 —

Возле штаба было заметно почти праздничное оживление. Майор Жернаков, капитан Шишков с несколькими офицерами стояли возле фонтана, вокруг которого была выложена полуметровая кирпичная стенка, и с нетерпением поглядывали на работягу, который подтягивал муфту на полудюймовой трубе.

— Скоро ты там? — нетерпеливо топнул блестящим спецпошива сапогом майор Жернаков.

— Чичас! — откликнулся работяга и, перешагнув через кирпичную стенку, открыл вентиль. Водомет прыснул ржавчиной, но вскоре вверх ударили множество сверкающих водяных струй. Штабные машинистки и бухгалтерши захопали в ладоши. Жернаков ощерил в улыбке свою вызолоченную пасть, но тут его взгляд упал на меня, и он повелительно пошевелил указательным перстом.

— Форма готова. Сегодня-завтра я соберу ее на месте в фонтане, и можно будет заливать бетоном, — доложил я и слотнул сухой комок в горле. — Разрешите обратиться с личным вопросом?

— Ну, что там у тебя?

— Товарищ майор, — пролепетал я, — можно мне надеяться на снисхождение по-

сле того, как я поставлю скульптуру?

— А ты не суешься! — жестко сказал Жернаков. — Я страх как не люблю торопливых! Шишков!

— Я, товарищ майор.

— Ты ему что-нибудь обещал?

— Никак нет, товарищ майор.

— Представляешь, он вообразил, что мы ему что-то должны сделать. Но это, кажется, не по моей части, а по твоей.

Замполит отвел меня в сторону и прошипел:

— Зачем ты поперся к майору? У тебя есть непосредственный начальник — лейтенант Зубов.

На счастье, я не злопамятен, отругал про себя Троцкого, как хотел, и вроде стало полегче, глянул от крыльца клуба в сторону фонтана, начальство разошлось, а с машины сгружали ящики с мраморной плиткой, чтобы облицовывать стенку бассейна. «Не всегда же Жернаков будет таким барбосом, — подумалось мне. — Вот поставлю дельфинов, он и помягчает. А тут еще бюст Ивана Федотыча поспеет».

Вспомнив о бюсте, я заторопился: надо было срочно сделать каркас для судейской башки и забросать его глиной, чтобы быть готовым к появлению Ивана Федотыча, который в моих планах уже, безусловно, выдвинулся на первое место, в нем, уверял я себя, есть основательность и надежность, это не вертухай, тот хоть и в майорских погонах, все равно попка, которому по недоразумению дали человеческое имя.

Я рьяно взялся за дело, и через два часа каркас был готов, затем по памяти я начал прорабатывать пальцами глину, пытаюсь нащупать в ней облик неподкупного народного судьи.

— Ну как? — подмигнул я Ерофею Кузьмичу. — Смаживает?

— На кого?

— Как на кого? На Ивана Федотыча.

— Не совсем, — Ерофей Кузьмич близоруко прищурился. — Пока это просто глиняная култышка.

— Ну и день сегодня! — я окунул в ведро и стал мыть руки. — Сначала майор меня оглоушил, теперь ты. Куда же податься бедному крестьянину?

— Раньше к богу шли, если что не так, — вздохнул старик. — А теперь не ведаю.

На этом пункте наш разговор угас, потому что я избегал говорить о боге, и тому были причины. Я видел, что послабление церквы привело к оживлению всяких толкований о предметах, которые моему обыденному разуму были недоступны. Я соглашался с тем, что бог есть, но даже сама мысль сделать шаг в его сторону повергала меня в смущение. Во мне накопилось за мою безалаберную жизнь столько барахла, столько мусора, столько лжи и предательства, пусть совершенных по слепоте и невежеству, но очистить от них душу даже самым суровым покаянием было вряд ли возможно. Для веры в бога я был потерянным человеком, и Ерофей Кузьмич понапрасну начинал мне иногда толковать, что господь есть любовь и, покаявшись, я непременно спасусь.

Старик не знал, что временами меня терзает раскаянье, но это, как я с ужасом понял, не мешает мне совершать тут же дурные поступки, в которых я раскаюсь в лучшем случае лет через десять, когда какая-нибудь беда притиснет меня к стенке. Как бы ни хвалили человека, но хорошим изо дня в день он быть не может, праведники, если и были, то в незапамятные времена, до коих нам не дотянуться, нам же уготовано грешить, чтобы раскаяться, испытать мимолетное очищение души и вновь ее чем-нибудь запакостить. Спросить меня, чем я сейчас занят, о чем возмечтал? О воле, какая ерунда, если в душе нет этой самой воли, а постоянная теснота от мелочных страстишек, пустых надежд и унижений перед вертухаями, чтобы выбраться из этого загона для отверженных и заявить в первую очередь самому себе, что ты человек, то есть можешь жить так же живо, погано и грязно, как все люди. Но штампик пребывания в ЛТП останется не только в документах и милицейских секретных комнатах, он, как скотское тавро, выжжен во мне навсегда, и я сильно сомневался, что когда-нибудь, если я даже уверю в господя, как апостол Павел, смогу очиститься от него насовсем; испытанное мной унижение пребудет во мне до гробового порога, а там — будь что будет! Авось, господь глянет на меня благосклонно и определит мне шесток, с которого мне будут видны верхи райских кущ и слышны хоры счастливых, воспевающих любовь господя к таким замарашкам, как я.

Задумываться о бесконечном — сладкое занятие, но не стоит этим увлекаться всерьез, чтобы не споткнуться на ровном месте, и, спохватившись, я послал Бывалина за тележкой: надо было снимать с дельфинов гипсовую форму и перевозить ее к фонтану. Пока старик ходил в мастерскую, я открыл дельфинам морды и убедился, что я не забыл рутинную работу форматора, гипсовые куски с глины снимались легко и были без пустотных раковин.

Ерофей Кузьмич проявил смекалку: не найдя тележку в мастерской, он вспомнил, что нечто на нее похожее имеется в столовой, и уволок без спроса трехколесную колымагу от овощного склада, чем заслужил от меня похвалу за смекалку, но старик побаивался нагоняя:

— Как бы нам за нее столовский начальник матюгов не навтыкал, — поеживаясь, предположил он.

— Он мой заказчик, — успокоил я старика. — Отвези тележку за клуб. Если до завтра там достоин, то мы на ней перевезем формы, прямо с утра.

Наша возня с формами привлекла внимание завклуба Гречкина, но явился он не из своего кабинета, где обычно предавался размышлениям об искусстве, а пришел из штаба от капитана Шишкова, который так озадачил завклубом, что тот был явно растерян.

— Неслыханное дело! — воскликнул он. — На днях, а может быть и завтра, в районе ждут епископа воссозданной епархии, — Ерофей Кузьмич радостно ойкнул и поспешил к иконке, на ходу осеняя себя крестным знамением. — Архиерей знакомится с областью, — продолжил Гречкин. — А здесь до двадцать седьмого года была знаменитая на все Поволжье Троицкая пустынь. Вот на нее владыка и обратил свое внимание.

— ЛТП здесь с какого бока? — сказал я. — У нас всего один православный верующий — вот он, Бывалин. Здесь все алкаши, а среди мусульман пьющих не бывает. Был один лжеиудей, так его след простыл.

— Какой ты недогадливый, — усмехнулся Гречкин. — Пустынь лежит в руинах. Ее надо практически строить заново. Дошло?

— Не совсем. Церковь отделена от государства, а мы — государственные люди. Конечно, если вся партиячка ЛТП во главе с Шишковым перейдет из ленинизма в православие, тогда нам только останется шагать за ними следом и в ногу.

Гречкин продолжал кудахтать про свои чувства к религии, которую он, с одной стороны, отрицал за явную ненаучность, а с другой — восторгался картинами художников, сюжеты которых были взяты из Ветхого и Нового Заветов. Во мне не нашли отклика его высокопарные рассуждения, живопись как искусство я не воспринимал и судить о ней не брался даже в пьяном виде.

— Ну, и как это все будет выглядеть? — перебил я Гречкина.

— Что? — споткнулся он.

— Ну, это самое: явление епископа и других попов постоянно и переменному составу лечебно-трудового профилактория?

— Пока не знаю, — развел руками Гречкин. — Похоже, и замполит не знает, ему позвонили из райкома партии и предупредили быть готовым. Он мне велел приготовить на всякий случай клуб.

— Значит, епископ может у нас и обедню отслужить?

— Наверно, может. Если райком КПСС в курсе, то, конечно, может.

Мне осталось снять два самых больших куса формы с основания скульптуры, но Ерофей Кузьмич все еще не пришел в себя от радости, пришлось Гречкину помогать мне закончить работу. Он посмотрел на свои вымазанные гипсом руки и глуповато улыбнулся:

— Это не на домре играть, но все равно искусство.

— Из тебя, Гречкин, так и прет советским интеллигентом!

— Это как? — обиделся завклубом.

— Как шипром! — поставил я точку и вышел из мастерской на крыльцо, спустился с него в курилку и, достав сигарету, лег на скамейку лицом к бесчисленной россыпи звезд, пульсирующих так низко, что, казалось, будь я помоложе, то смог бы до них допрыгнуть и дотянуться. Но сейчас я не смог бы подпрыгнуть и на два вершка, меня все тянуло вниз: житейская невезуха, подорванное пьянкой здоровье и временами охватывающая душу тупость и неспособность в полной мере воспринимать цвета и запахи жизни. Все выели вонь хлорки и черный цвет неволи, от которых мне уже никогда не избавиться, до скончания моих земных дней.

На крыльце зашаркал сапогами Бывалин.

— Ваня, — позвал он, — ты здесь?

— А ты что, сойти с крыльца не можешь? Держись, Ерофей Кузьмич, завтра твой день!

— Мог бы и моим быть, — вздохнул старик. — Но я-то в таком непотребном виде.

— Христос от разбойника не отвернулся, ужели епископ блудного сына не примет?

— Как ты легко о таких вещах глаголешь. Я завтра где-нибудь спрячусь.

Если Бывалин надеялся, что я его буду отговаривать от намерения забиться в какую-нибудь щелку и отсидеться там, когда приедет епископ, то он просчитался. Я

предоставил ему возможность совершить свободный выбор, что от бога имеет всякий человек, поэтому и промолчал, забрался на верхнюю койку и отправился на ней в безоглядное плавание к следующему дню своей жизни.

Утром мы перевезли формы на место, к фонтану, и мое рвение было замечено Zubовым, которого я просил найти совсем небольшую бетономешалку, чтобы не ворочать цемент и мраморную крошку в корыте пердячим паром, то есть вручную лопатой, и начальник отряда раздобыл почти игрушечный агрегат, который за один замес давал пять ведер раствора. Он вскоре был доставлен к фонтану, как и материалы: мешки с цементом и мраморной крошкой.

Я уже давненько не занимался приготовлением бетонной смеси, поэтому слегка мандражил, когда делал первый замес под туповатыми взглядами элтэпэшного руководства. К счастью, никто из них не полез ко мне с советами, и я, принимая от своего помощника одно ведро раствора за другим, залил основание скульптуры, и мы по новой принялись загружать бетономешалку цементом и мраморной крошкой. Зрители поняли, что последует повторение того, что они уже видели, и разошлись, но на их место то и дело являлись другие: столовские рабочие, всякая обслуга, больные из карантина и те, кого капитан Попов пригласил посидеть с цинковым тазиком в «рыгаловке», словом, мы с Ерофеем Кузьмичом сегодня купались в лучах всеобщего внимания. Конечно, мне надоедали со всякими вопросами, но я перевел стрелки на своего помощника, и старик сначала с моими подсказками, а затем обстоятельно и бойко объяснял основы форматорского мастерства, пока не наткнулся на усмешливый взгляд Степана Федорчука.

— Чудный ты старик, Бывалин, — ядовито пропел он. — Пообщался неделю-другую с Коневым и травись, как настоящий скульптор. Ты, видимо, и в церковь попал таким же манером?

— Это каким же? — опешил Ерофей Кузьмич.

— Потеряя неделю-другую подле архиерея и скакнул из мужиков сразу в попы.

Бывалин сначала стал беспомощно озираться, затем схватил лопату и шагнул в сторону обидчика.

— Вот-вот, опять, когда сказать нечего, мы хватаемся за какой — нибудь дрын! — вскричал Федорчук. — Уж бери тогда в руку булыжник или половинку кирпича, это хоть оружие пролетариата.

— Уймитесь оба! — прикрикнул я с лестницы, на которой стоял с ведром в руке. — Сейчас вот окачу бетоном. А тебе, Кузьмич, не грешно злиться на дурака? Отвернись от него, будто не слышишь, — Степан и сам отодвинулся в сторону, уселся на столбик невысокого заборчика, отделявшего дорожку от скверика перед штабом, и достал сигареты. — Не мозолил бы ты нам глаза, Степка, — сказал я, принимая от Бывалина очередное ведро с раствором.

— А что, правда попы сегодня к нам явятся? — проигнорировал мое предостережение Федорчук. — Я хотел перед ночной сменой отдохнуть, а там полы моют, окна протирают, как перед московской комиссией. Zubов объявил, чтобы все побрились и зубы почистили. Может, патриарха ждут?

— А тебе не все одно, кто приедет? — проворчал Ерофей Кузьмич. — Такие, как ты, не по божиему соизволению рождаются, а от сырости заводятся, как мокрицы.

— Может, и от сырости, — хладнокровно сказал Федорчук. — Но я живу тем, что зарабатал своими руками. А попы, я так понимаю, сегодня явятся, чтобы дармовых работников себе присмотреть?

Мне показалось, что Ерофей Кузьмич от обиды, нанесенной всему священническому сословию, даже всхлипнул, а у меня в этот миг в руках было ведро с остатками бетонной жижи, их я, не раздумывая, выплеснул в сторону Федорчука, и здоровенная, похожая на коровью лепешка шлепнулась перед ним, окатив злостного атеиста грязью. Это случилось под распахнутыми окнами кабинета начальника АТП, и майор, привлеченный шумом, подошел к окну и красноречиво погрозил нам кулаком.

— Что за выродок! — плюнул вслед Федорчуку все еще вскипавший обидой Бывалин.

Пора было сделать перекур, и мы ушли в свое ателье, где выпили чайку, я сжег пару сигареток, и Ерофей Кузьмич пришел за это время в себя и признался, что рассердился на Федорчука напрасно, ибо тот по своей безбожной слепоте не видит света истины. Честно будет сказать, что я и сам её не видел, а скорее всего, придумывал себе сияние едва-едва прозревающего рассвета в своей закопченной грехами душе, и это не было даже шажком в сторону веры, а робким шевелением и попыткой оборотиться лицом из тьмы к свету.

К обеду мы успели заполнить форму бетоном на три четверти объема и, перед тем как идти в столовую, загрузили бетономешалку и включили, как вдруг из штаба вывалило начальство, майор Жернаков недовольно посмотрел в нашу сторону, что-

то приказал, и к нам подбежал молоденький лейтенант и вырубил наш визжащий и грохочущий на всю округу растворный агрегат.

Тем временем руководящая головка ЛТП достигла проходной и выстроилась перед ней в одну шеренгу, а сам Жернаков прошел за ворота и довольно скоро появился обратно, ведя за собой трех священнослужителей и двух гражданских товарищей при шляпах и портфелях. Майор представил главному из гостей, невысокому и плотному архиерею, своих заместителей, с которыми тот не побрезговал поручкаться, затем Жернаков провел всех к больничному корпусу, куда только что вошли около трех десятков принудбольных, вызванных на очередной сеанс шоковой терапии.

Воспользовавшись тем, что начальство и гости заняты изучением медицинских достижений капитана Попова, я включил бетономешалку и все время поглядывал в сторону больницы, чтобы выключить ее до появления начальства, но оно задерживалось: в больнице было что посмотреть: и палаты, и врачебные кабинеты были на очень приличном уровне, а что касается «рыгаловки», то она сияла никелем и итальянским кафелем и могла ослепить проверяющего любого уровня, а не только епископа и его свиту.

— Ты что застыл, как соляной столп! — толкнул я Бывалина. — Отряхнись от цемента и лови момент: кланяйся епископу, чтобы замолвил за тебя словечко перед начальством.

— Разве я могу это просить, — жалобно сказал Ерофей Кузьмич. — Я сам во всем виноват, что поддался бесу пьянства, а наши райкомовцы подсобили мне попасть сюда. Я в таком клубке запутался, что его не распутать и владыке.

— Эх ты, божий одуванчик! — сказал я, влезая на лестницу. — Давай ведро с бетоном!

На этот раз из больницы первым выпятился капитан Попов, поддерживающий за руку епископа. Главврач, видимо, не успел поведать обо всем, чего он достиг в деле борьбы с зеленым змием, но гость глянул в нашу сторону и о чем-то спросил Жернакова, и тот, отгеснив элтэпэшного эскулапа, освободил всем дорогу к фонтану.

Ерофей Кузьмич всего этого не заметил, и когда в десяти шагах от него появился епископ, то шараясь за форму и притаился, а я в это время стоял наверху и счел необходимым спуститься вниз.

— Вот окультуриваем наше учреждение, — сказал Жернаков. — В прошлом году лето было очень жарким, и возникла мысль построить фонтан для освежения воздуха, а в центре поставить двух резвящихся дельфинов. Это наш скульптор со своим помощником...

Я воспользовался случаем вытащить Ерофея Кузьмича из укрытия:

— Бывалин! А ну покажись...

Старик высунулся из-за формы, а владыка обратился ко мне:

— Вы, наверно, учились?

— Нет, я самоучка, работал форматорм.

Епископ сделал знак своему помощнику, тот подошел к Бывалину, взял за руку, отвел в сторону и стал о чем-то расспрашивать.

— Я питаю некоторую надежду, — сказал епископ, — что вы нам окажете помощь. На эту тему у меня уже был предварительный разговор с начальником УВД.

— Я об этом знаю, — сказал Жернаков. — Но для порядка мне нужно получить письменное распоряжение, чтобы было что показать прокурору.

— А мнения райкома партии тебе, майор, будет недостаточно, чтобы твой контингент подключился к восстановлению пустыни? — веско сказал человек в шляпе. — Тем более, что прокурор — член бюро райкома.

— Мы готовы приступить к работе сразу, как последует распоряжение! — щелкнул каблуками майор Жернаков.

— Считай, что ты его получил, — сказал райкомовец и повернулся к епископу. — Предлагаю, владыка, осмотреть пустынь, вернее, то, что от нее осталось. Наши предшественники были так близоруки, что крушили все, что только напоминало о религии.

— Я глубоко удовлетворен вашей помощью церкви, — сказал епископ и нетерпеливо глянул в сторону иеромонаха, который отмахивался от Ерофея Кузьмича, пытавшегося поцеловать ему руку.

— Рад за тебя, — сказал я Бывалину, который кланялся вслед покидающим ЛТП гостям. — Определенно, ты получил надежду на спасение.

— Это уж как господь поволит, — осенил себя крестным знаменем старик. — На него и уповаю.

— Не худо было бы покадить и в сторону Ивана Федотыча, — не удержался я от насмешки. — Бог-то предполагает, а судья располагает.

Однако Ерофей Кузьмич моих слов будто не слышал и смотрел мимо меня куда-

то в только ему ведомое пространство с торжеством победителя. Этот потусторонний взгляд меня смутил, и я взялся за ведро, чтобы сделать в нем цементный раствор для заделки щелей в сочленениях формы.

– 14 –

В праздники и выходные нам, как и всем советским людям, полагалось отдыхать, но принудительно хватало и одного дня, чтобы прибраться в тумбочке, сделать небольшие постирушки, побывать на свидании, если приехал кто-нибудь в гости, и насмотреться до одури телевизора. На эти майские праздники выпало четыре свободных дня, но отдыхали мы только Первого мая: постояли на коротком митинге возле штаба, посмотрели по телику демонстрацию в Москве, посетили столовую, где после генеральной уборки все воняло хлоркой, и насладились, опять же по случаю праздника, интернациональным обедом: грузинский суп-харчо, узбекский плов, пролетарский чай с русской ватрушкой. После обеда и длительного перекура мы побывали на концерте артистов районного дома культуры, и завершилась культурная программа вечерним показом классики советского кино – кинофильма «Чапаев», который мы смотрели с живейшим интересом как неиссякаемый источник анекдотов, пользующихся спросом и в заводских курилках, и в партийных кабинетах.

Следующий день начался по-рабочему: подъем, построение, завтрак, наряды на работы. И мы были не против поработать, только не на опостылевшем кирпичном заводе, а где-нибудь на стороне, на разгрузке-погрузке, благоустройстве территории. Всегда были готовы поехать в колхоз или совхоз, где после работы нас кормили с обильными добавками и первого, и второго, поили молоком, угощали сметаной и творогом.

Я был лишен этих маленьких радостей, скрашивающих тусклую жизнь принудительно, поскольку после назначения на пост главного скульптора ЛТП стал невыездным, меня берегли от всяких случайностей, которые могли произойти на разных работах, и майор Жернаков неоднократно напоминал мне об ответственности, кою я должен прочувствовать, прежде чем приступить к лепке бюста Ивана Федотыча.

Невзирая на запрет, я попытался встать в строй команды, которую нарядили на работу в Троицкую пустынь, однако Зубов велел мне идти в свое ателье и никуда оттуда не отлучаться. Бывалин потоптался возле меня, повздыхал, снова потоптался, томясь нетерпением.

– Что мучаешься? Иди со всеми к монахам, их там, наверно, уже несчетно набегало?

– Зря ты, Ваня, злишься, – кротко сказал Ерофей Кузьмич. – Тебе скоро через судью свобода будет.

– А ты ее уже получил? Я ведь и не знаю, про что ты с игуменом шептался.

– Все в руках божьих, – заторопился примкнуть к своей рабочей команде Ерофей Кузьмич. – А ты, Ваня, не злись, нехорошо это.

Гречкин тоже был невыездным на работы и скучал в своем кабинете за просмотром мхатовского спектакля на пролетарскую тему, который транслировали по телевидению из Москвы. Моему появлению он обрадовался как случаю потолковать о вечных темах искусства, но я был не склонен сегодня иронизировать над юродством сбившегося с панталыку работника культурного фронта и подошел к шкафу, где хранились альбомы с фотографиями.

– Что за типаж тебя заинтересовал? – сказал Гречкин, обеспокоенный моей молчаливой решительностью.

– Мне нужны все, какие найдутся, фотографии Ивана Федотыча.

– Понимаю, понимаю, – резво встал из кресла завклубом. – Возник творческий замысел, требуется просмотр всей иконографии, чтобы окончательно определиться с формами натуры.

– Ничего сложного я не замышляю. Мне нужен судья во всех ракурсах.

Фотографии начальства во время торжеств были заключены в самодельные, с фанерными крышками, обтянутые плюшем альбомы. Иван Федотыч в них не затерялся, он был запечатлен с разных точек во время судебных заседаний: вот он жестко вопрошает, вот он слушает, вот он занес кулак и сейчас обрушит его на трибуну, вот он в фас, анфас, профиль, нашлась даже фотография, на которой Иван Федотыч сфотографирован сверху, с крыши, и среди офицерских фуражек его лысина отражает солнечные лучи, как овальное зеркало.

Я отобрал с десятка изображений судью, пришил их кнопками на фанерку и поставил ее рядом с глиняной заготовкой для номенклатурного бюста. В каждом деле всегда есть нечто основное, заглавное, в моем случае это была парадность, инोग бы от меня не приняли мои заказчики, да и сам Иван Федотыч мог обидеться, увидев себя не таким, каким всегда представлял – значительной особой и государственным мужем,

в чьем праве делать людей счастливыми и несчастными. Однако прямое следование парадности легко могло превратить бюст в карикатуру, поэтому я слегка сглаживал углы и провалы на физиономии судьбы, оставив в неприкосновенности лишь нос, символизирующий решительность натуры и волевой подбородок, слегка расширив при этом лоб юриста и уменьшив ушные раковины. Эти изменения я сделал за какие-нибудь три часа топтания возле бюста, затем сбрызнул его из бутылки с водой и позвал завклубом.

Я пригласил его одного, а он явился с замполитом, который был у него в кабинете. Но это меня не огорчило, я поставил бюст к свету и храбро расселся в присутствии начальника на диване. Шишков покосился на меня, но промолчал, его увлекло рассматривание бюста, он долго на него взирал, затем произнес свое резюме:

— Хорош — не спорю, но сходство, Конев, хромает. Как тебе кажется, Гречкин?

— Да-да, — поспешил подписаться под мнением капитана завклубом.

Мое молчание затянулось, у меня на языке вертелся ответ, который дал Микеланджело критикам его бюста Лоренцо Великолепному: «Через четыреста лет никто и не спросит, похож ли оригинал на свое изображение».

Поколебавшись, я произнес это вслух.

Замполиту ответ гения понравился, и он хлопнул меня по плечу:

— Люблю находчивых!.. Никуда не уходи. И приберись, окурки из банки повытрясывай!

— Куда это он? — сказал Гречкин.

— У тебя в клубе есть полное собрание сочинений Маркса?

— Есть в библиотеке, а что?

— Замполит решил посоветоваться по поводу бюста Ивана Федотыча с основоположником марксизма-ленинизма.

— Я от тебя этого не слышал, — отшатнулся от меня Гречкин. — И ты поменьше болтай.

— А что я сказал плохого?

— А то, что перестройка началась, а дураки не кончились, — сказал Гречкин, удивив меня здравостью суждения. — И вряд ли закончатся.

Завклубом решил, что пришло время очередного чаепития, и пригласил меня в свой кабинет, где очень скоро в литровой кружке заподпрыгивал кипятильник. Мы испили чайку и не успели закурить, как Гречкин замахал руками.

— Идут! Замполит и майор.

Я успел добежать до своего ателье, sprysнуть бюст и выжидательно уставился на дверь.

— Ну и чем ты, Конев, сразил наповал моего политического заместителя? — сказал Жернаков, войдя в мастерскую. — Теперь вижу, вижу... И все это ты сделал по фотокарточке? — Начальник взял фотографии и стал примериваться то к ним, то к бюсту. — А что, похож! — подвел он итог своим искусствоведческим изысканиям. — Конечно, решающее слово за Иваном Федотычем, безусловно, потребуется доработка, но главное ты схватил. Надо звать его на смотрины, Шишков. Ведь так? Он своего «жигуленка» из мастерской не забрал?

— Кажется, нет, — доложил замполит.

— Узнай, — велел начальник. — И как явится за машиной, обеспечь его явку сюда, а ты, Конев, нос не задирай. И помни, что за тобой дельфины!

Второй день праздника не обошелся без нарушений режима, и почти во всех бригадах, кроме той, что работала в пустыни, нашлись ухари, исхитрившиеся достать вина и нерасчетливо к нему приложиться. Бывалые прапорщики на КПП пьяных вычисляли одним мимолетным взглядом, выдергивали из строя, ставили мордой к стене проходной, и дежурный по ЛТП определял их до протрезвления в карцер. Утром их забирали начальники отрядов, производили с ними по-отечески разбор полетов и отправляли к капитану Попову, который прописывал им по полной программе повторный курс лечения. Злостным нарушителям давали раствор медного купороса и после ежедневной «рыгаловки» отправляли в карцер, где с ними проводил воспитательную работу начальник этого мрачного заведения прапорщик Забеида. Единственным, чего не лишился проштрафившийся принудобольной, были положенные ему по раскладке суточные калории, пайку ему не урезали.

Однако этим репрессии против упившегося принудобольного не заканчивались, к его осуждению подключалась общественность. В моем отряде на этом поприще активничал Федорчук, продолживший после моего возвышения выпускать сатирические листки, где дал развернуться своему стихоплетскому таланту. Шаржи и карикатуры ему не удавались, но его пытливый ум новатора скоро отыскал выход: в стране шла оголтелая борьба с пьянством, и все печатные издания публиковали массу обличительных материалов, в том числе и карикатур. Степан разжился папиросной

бумагой и переводил картинки из журналов на страницы своего издания.

Прослышав, что задержан в пьяном виде кто-то из нашего отряда, он быстренько смотался к дежурному по ЛТП, выяснил личность нарушителя, и когда я пришел в отряд после отбоя, Степан позвал меня, чтобы похвалиться своим талантом.

— Ты стоишь на правильном пути, — одобрил я рукотворство Федорчука. — Только, когда спишь, голову держи под подушкой.

— Это еще к чему? — дернулся он.

— К тому, чтобы уберечь ее от железяки или харчка. Пока беда тебя обходит, но скоро она тебя съест.

— Раскаркался, — недовольно пробурчал Федорчук, отбирая у меня лист с рисунками. — За себя остерегись. Вот расколотишь форму, а там хвоста у дельфина нет. Его на гвоздики к бетону не приляпаешь. Вот тогда Жернаков с тобой разберется.

В комнату заглянул Бывалин и мотнул головой, приглашая меня на выход. Я спустился с крыльца и сел в курилке, рядом с Ерофеем Кузьмичом.

— У меня, Ваня, новость, — сказал старик дрожливим голосом. — После праздников меня отсель выпускают.

— Значит, епископ не оставил в беде заблудшего пастыря. Я за тебя рад. Поедешь домой?

— Куда же еще? Дом пока мой, говорят, что сестры одумались, даже раскаялись. Но кто знает, так ли это. Сейчас ведь такое время, что все иссобачились друг против друга.

— А в пустынь игумен не зовет?

— Я ведь не монах, и не мое это. Пустыни насельники нужны молодые и здоровые. А вот ты в ней пригодился бы.

— Какой из меня инок, — усмехнулся я. — Столько лет кадил пьяному бесу, что закоптился грехами насквозь.

— Я тебя и не посылаю в монахи, — сказал Ерофей Кузьмич. — Игумен тебя примет с радостью на послушание. Поживи с чистыми людьми, за твою работу тебя будут кормить, другого тебе сейчас и не надо. Или ты решил ехать к той, что тебя ждет? А ты к ней не торопись. Ждала тебя столько лет, еще подождет. Вы ведь уже не молодые, чтобы торопиться.

— Чтобы это решить, надо сначала уйти отсюда, — сказал я. — Или ты сказал уж обо мне игумену?

— А я знал, что захочешь там побывать. Иди в пустынь, от этого тебе будет только польза.

Я затушил сигарету и вслед за Бывалиным пошел в спальное помещение, глотнул там спертого воздуха и попятился. Ключ от клуба у меня был, и я, накурившись до одури «Примы», не раздеваясь, лег на диван и проснулся от бодрой солдатской песни, с которой принудбольные шли на завтрак.

— Что там на хавку? — спросил я, высунувшись в окно, у какого-то уже насытившегося ханурика.

— Простипома с овсом, — ощерился беззубым ртом мой коллега по несчастью. — А еще говорят, что праздник.

Доходяга начал нарезать круги под окнами мастерской, и вскоре ему повезло надобать крупный «бычок» — окурок, и он, причмокивая, стал его раскуривать.

В тумбочке у меня были хлеб, банка килек в томате, и я предпочел позавтракать ими, затем заварил свежего чайку и размотал бюст, чтобы свежим взглядом оценить свою вчерашнюю работу, и сразу просек, что не зря вчера ковырялся в глине, конечно, бюст нуждался в доработке, но в нем была прочная основа. Мне удалась крепкая посадка головы, общий абрис лица, грубоватый, но подчеркивающий неординарность природы, уж кому-кому, а Ивану Федотычу довелось на своем судейском веку сломать не одну человеческую судьбу о дубовый оселок закона, который при социализме был для всех одинаково беспощаден, но выборочно гуманен. Ивана Федотыча своей скульптурной работой я не осуждал, пусть с точки зрения общечеловеческих ценностей его нельзя было назвать добродетельной персоной, для меня он мог стать вполне возможным благодетелем, поэтому и очеловечил судьбу, как мог, в пределах тех черт, коими наградила его природа. В это утро я с нетерпением ждал, когда он придет в мастерскую, и ощущал легкий зуд в кончиках пальцев, который можно было успокоить только прикосновением к глине.

Большинство принудбольных разошлись по работам. Я стоял возле окна, выглядывая, не промелькнет ли где хорошо знакомая фигура судьи, когда скрипнула дверь, и, обернувшись, встретился взглядом с Иваном Федотычем. Он с интересом на меня поглядывал и как бы спрашивал: «Что, не ожидал меня, а я так ловко к тебе подкрался?»

Он прошел мимо приготовленного для него стула к моей скульптурной нетленке и

установился на нее немигающим взглядом. Я замер, не зная, как вспыхнет Иван Федотыч — взрывом гранаты или праздничным фейерверком, но он остался невозмутимым и собранным.

— Что от меня требуется?

— Часок времени, — засуетился я, как официант возле богатого клиента. — Мне нужно проработать бюст в окончательном варианте. Я вас не задержу, вот сюда, на газетку, присядьте, а то у меня вокрут гипс.

Всю свою сознательную жизнь Иван Федотыч просидел на том месте, которое называют «казенной частью», то бишь на заднице, на жестком судейском стуле, и натурщик из него был великолепный. Он не шелохнулся в течение двух часов, сидел и только нечасто помаргивал зоркими глазками.

— Что, уже все? — с некоторым удивлением произнес он, когда я закончил работу.

— Это предстоит определить вам, — с официальной любезностью произнес я, смачивая бюст водой из бутылки.

Соль ситуации заключалась в том, что впервые Ивану Федотычу предстояло судить самого себя на предмет соответствия бюста оригиналу. Я с любопытством наблюдал, как судья всматривается в свое изображение и на его обычно бесстрастном лице отражается самая разнообразная игра чувств от сомнения до радостного узнавания самого себя в слепке, который может сохраниться бессрочно долго. В конце концов, Иван Федотыч проникся пониманием, что своим бюстом он прикоснулся к вечному и, смущенно кашлянув, вымолвил:

— Кажется, ты, шельмец, меня улучшил...

— Это обман восприятия, — опять засуетился я. — И означает только одно: скульптура начала жить своей, независимой от вас жизнью.

— А ведь ты ловок врать, — довольно рассмеялся Иван Федотыч и потрепал меня по плечу. — Сделай мне два бюста. Сможешь?

— Это не проблема.

Он повернулся к своему бюсту, еще раз полюбовался и, уходя, заметил:

— Я посмотрю, что можно будет для тебя сделать.

Радостное известие, что Иван Федотыч одобрил свое скульптурное изображение, было осознано моим начальством только к вечеру, и они явились в мастерскую на просмотр. Однако показывать было нечего, я запаковал глиняную голову заслуженного юриста в кусковую форму, по которой можно сделать заказанные мне две отливки.

— Где бюст? — с некоторой растерянностью спросил майор. — Здесь, что ли? — и он постучал пальцем по гипсу: — Показывай.

Я разобрал форму, срезал острым ножом напльвы и поставил бюст на тумбочку.

— Когда будет готов второй? — спросил Жернаков. — Ты ему обещал сделать два.

— Утром, часиков в десять.

— Зачем ему два бюста? — удивился замполит.

— На всякий случай, — усмехнулся майор. — Запас карман не тянет. Гипс — материал хрупкий. Вот Иван Федотыч и подстраховался.

Первые лица ЛТП, довольные моей работой, удалились, но за ними явились офицеры штаба, затем по одному у меня побывали начальники отрядов, до темноты посетители так и шли, в одиночку или по двое, по трое: офицеры, прапорщики и вольнонаемные рабочие и служащие. Это коллективное любопытство было для меня явлением загадочным, и я, честно говоря, так и не понял, на кого эти экскурсанты смотрели: на меня или на бюст знаменитого юриста.

После киносеанса я глянул в окно и с ужасом увидел, что возле клуба кучкуются принудбольные с явным намерением посетить мою мастерскую, и послал к ним Гречкина, чтобы тот велел им приходить завтра. Толпа рассосалась, но две рожи, как прилипли к окну, так и торчали в нем, пока я, выключив свет, не направился в сторону своего отряда. Но чудеса продолжались и там, бугор Михайлыч взглянул на меня и угостил беломориной, а буйные чемпионы картежного «козла» притихли и поглядывали в мою сторону с явной почтительностью. Я догадался, что это было вызвано моей общепризнанной удачей, о которой я иногда мечтал, что недурно будет при случае потрогать эту продажную девку за вымя, но я никогда, даже в самых пьяных снах, не предполагал, что если не сама удача, то ее призрак, явится ко мне в трижды проклятом загоне для отверженных, ведь здесь находились только те, от кого удача отвернулась навсегда и бесповоротно.

Сейчас почти каждый в ЛТП знал, что среди более чем полутысячи неудачников есть тот, кому светит через несколько дней оказаться на свободе. Конечно, все мне завидовали, но одновременно с завистью и в этих затурканных людюшках, барахтающихся в отстойной тине жизни, просыпалась надежда, что и им когда-нибудь повезет, и к ним явится удача, и они смогут, хотя бы ненадолго, расправить согбенные невзгодами спины.

– 15 –

В День Победы я проснулся с ощущением невосполнимой утраты от расставания с Бывалиным, ежедневное общение с которым помогло мне пристальнее присмотреться к самому себе и о многом задуматься. Ерофея Кузьмича освободили по-тихому: вызвали в штаб, вручили серпастый и молоткастый паспорт, хранившийся в личном деле, и справку о пребывании в лечебно-трудовом профилактории. К этому времени был готов и денежный расчет. Он получил деньги, смотался в магазин, затарился конфетами, печеньем, газировкой и, с разрешения Зубова, накрыл стол для всех, кто в это время был в отряде.

Лейтенант не побрезговал присесть с нами и, подняв полстакана «Боржоми», поздравил всех с праздником. Мы дружными аплодисментами поддержали начальника отряда. Ерофей Кузьмич расчувствовался, пустил скупую мужскую слезу и попросил у нас прощенья за все, в чем он перед нами провинился.

– Я не понял, – сказал Михайлыч. – За че, к примеру, мне тебя прощать? Меня ты не обидел. Может, кого другого?

Обиженных Бывалиным среди нас не нашлось.

– Тогда простите меня по-божески, – попросил Ерофей Кузьмич.

– Прощаем! Прощаем, – загомонило застолье. – Легкого тебе пути!

Я вышел, с разрешения Зубова, проводить старика до остановки междугороднего автобуса. К ней от КПП к шоссе была натоптана гостями нашего учреждения никогда не зараставшая народная тропа. Бывалин оделся в ту одежду, в которой его привезли в ЛТП, а я был в черном казенном прикиде. Он и послужил причиной тому, что мое прощание с Ерофеем Кузьмичом получилось нервным и скомканным. Ни Бывалин, ни я не имели опыта самовольных отлучек, иначе бы не выперлись на шоссе, а затаились в зарослях полынного бурьяна на обочине до прихода автобуса. А мы встали этакими стоп-сигналами, и первая же ментовская мигалка остановилась рядом с нами, и мент, не выходя из машины, ухватил меня через окно за шиворот.

– Из ЛТП? Куда собрался?

Я растерялся до немоты, но Ерофей Кузьмич, глотнув воздуха свободы, осмелел и вырвал меня из милицейской хватки.

– Вот мои паспорт и справка, – заявил старик. – А он, с разрешения начальника отряда, провожает меня на автобус.

– Брось ты этих раздолбаев! – сказал шофер. – Меня майор ждет.

– Сейчас! – радостно воскликнул мент и, не выходя из машины, через открытое окно достал меня кулаком в челюсть. Я пошатнулся, но Бывалин помог мне удержаться на ногах.

– Прямо какие-то тонтон-макуты! – возмутился Ерофей Кузьмич, недавно видевший по телевизору фильм о бесчинствах охраны чернокожего диктатора Дювалье на Гаити. – Вроде русские люди, а ведут себя, как псы. Креста на них нет!

– При царе все полицейские носили на шее кресты, но разве они были лучше наших ментов? Такие же тузики!

Встреча с представителями органов правопорядка понудила нас встать за остановку, где мы и провели полчас в неторопливой беседе. Бывалин втолковывал мне, что самое лучшее в моем положении податься в пустынь. Я соглашался с ним, но моя голова была занята завтрашним днём, когда решится, в каком положении останутся чашки судебных весов, на одной из которых – бюст, а на другой – двухгодичный срок принудительного лечения.

С отъездом Бывалина я лишился помощника, но к этому времени расчелся со всеми: в мастерской затылками друг к другу стояли два бюста Ивана Федотыча, один – первозданно белый, другой – затонированный под бронзу; был готов к открытию фонтан с двумя дельфинами, над которыми я изрядно попотел, полируя их до стекольной гладкости, пока они, смоченные водой, не засверкали заделанными в их бетонные тела мраморными вкраплениями.

Предаваться дальнейшим размышлениям о творческих успехах мне помешал вызов к Зубову.

– А ну-ка зайдем, – сказал начальник отряда, направляясь в свой кабинет, где взял со стола половинный листок бумаги и протянул его мне. Это была увольнительная на двое суток.

– Она мне не нужна, – отказался я и положил бумажку на стол.

– Бери, пока я добрый, – усмехнулся лейтенант. – Меня сегодня не будет, поэтому бери и не потеряй.

– Мне некуда идти, – сказал я, засовывая увольнительную в карман.

– Как некуда? – удивился Зубов. – Сходи в рощу, на речку. А ночевать тебя пустят в офицерское общежитие, я с прапорщиком это согласовал. Он о тебе знает.

Неслыханная щедрость начальника отряда меня удивила, я посчитал ее поощрением за дельфинов, но долго размышлять на эту тему мне помешал хриплый лай Михайлыча, давшего команду на построение. Старый баклан в армии никогда не служил, но, побывав по малолетке в одной из уральских колоний, получил там строевую выучку, которой мог бы позавидовать и курсант учебки. Его отличительной чертой как бугра были любовь к чефиру и обожание шагистики, но в последнем он мог проявить себя, только когда все наше доблестное учреждение готовилось ко Дню Победы. Чеканя шаг, отрядные колонны принудбольных проходили торжественным маршем мимо трибуны, а высокопоставленные и ответственные товарищи отмечали и соответственно поощряли тот отряд, где шагистика находилась на высоко-политическом уровне. И замполит Шишков неоднократно подчеркивал, что час строевой подготовки по воспитательному значению равен двухчасовой лекции капитана Попова о вреде пьянства и алкоголизма.

И в День Победы отряды принудбольных шли на завтрак, испытывая в ногах зуд нетерпения ударить строевым, но бугры требовали песню, и мы запели, пожалуй, самую пронзительную песню об Отечественной войне «Враги сожгли родную хату», явно не строевую, но настолько задушевную, что у многих на глаза навернулись искренние слезы.

Гречка со свиной и чай способствовали повышению нашего жизненного тонуса, и после получасового перекура все принудбольные заняли каждый свое место в отрядных, пять человек в ряду, коробках напротив штаба, а на высокую, украшенную кумачовыми флагами и транспарантами трибуну взошли руководство ЛТП и гости — представители эксплуатирующих нас организаций, а между ними занял свое место, сверкнув отполированной парикмахером лысиной, сам народный судья Иван Федотыч, у которого на парадном пиджаке сияли полученные за отвагу на судебском поприще две медали. Мне это улучшило настроение: теперь я мог говорить своим недоброжелателям, что не только прогнулся перед начальством, но сделал бюст достойного человека.

Официальная часть длилась недолго: Жернаков, спотыкаясь, прочел, наверное не в первый раз, доклад о Победе, затем кадровик огласил праздничный приказ, поощрили не только постоянный состав, но и принудбольных, совершенно неожиданно я получил благодарность, и это прозвучало для меня похоронным маршем, я надеялся на освобождение, а мне отсыпали, по сути дела, стакан семечек — щелкай и веселись!

На вручение подарков от организаций я поглядывал кисло: одному отряду вручили телевизор, другому — магнитофон, третьему — стиральную машину, Зубову досталась пишущая машинка в футляре, он поднял ее над своей головой и показал всему отряду. Официальная часть закончилась, и Жернаков пригласил всех на торжественное открытие фонтана. По всему, мне как автору дельфинов надлежало быть впереди, рядом с руководством, но я был так ошарашен благодарностью, что плохо соображал, куда мне идти и что делать. Честь открыть кран, конечно, была делегирована Ивану Федотычу, и он как бывалый владелец дачного участка справился с ней блестяще: резво согнулся, крутанул бронзовый барашек крана, и под приветственные крики ударили и сплелись над скульптурой хрустально-серебристые узоры водных струй, обильно омывая блистающие мраморными вкраплениями тела дельфинов.

— Великолепное сооружение! — дал всесую оценку фонтану Иван Федотыч, и с ним все согласились: и руководство ЛТП, и представители организаций, и прочие обитатели загона для отверженных, в их числе и я, потому что зоновская эстетика имеет не меньшее право на существование, чем все другие направления изобразительного искусства. Лаконичная архитектура барачных помещений в периметр контрольно-следовых полос, вышек, заборов в барочных завитушках колючей проволоки, над которыми по ночам разыгрывается световая феерия прожекторных лучей, — все это имеет своих почитателей и ценителей. Конечно, я к их числу не принадлежал, но принимал ее как данность, и, наверно, поэтому мои дельфины пришлось так кстати и потрафили вкусу Жернакова, Шишкова, Зубова и других наших сторожей и оберегателей здоровья людишек, искалеченных всесильным зеленым змием.

Дельфины всем понравились, но никто не заинтересовался их создателем, не потребовал автора, кроме Ивана Федотыча, который поинтересовался у Жернакова обо мне, и прапорщик Злыдень извлек меня из толпы принудбольных и, подталкивая, доставил к фонтану.

- У тебя все готово? — осведомился майор.
- Так точно, — пролепетал я. — Бюсты в мастерской.
- Прошу, Иван Федотыч, кажется, ваши изображения уже готовы.
- Любопытно, любопытно, — оживился судья — Почему бы и не взглянуть.

Мы переждали, пока мимо нас в клуб на концерт зайдут принудбольные, и направились в мастерскую, уже подготовленную к приему руководства стараниями

завклуба Гречкина. Пол в ней был свежeweмыт, окна протерты, форточки открыты и освежали помещение легким ветерком.

Жернаков и Шишков пропустили вперед Ивана Федотыча, который внимательно осмотрел свои бюсты, белый и отгонируванный, даже щелкнул один из них пальцем, прислушался к звуку и засиял довольной улыбкой. Шишков понял, что работа принята и турнул Гречкина за оберточной бумагой и шпагатом.

— Надо бы обмыть, — игриво сказал Жернаков.

— Успеется, — отмахнулся Иван Федотыч и вплотную приблизился ко мне. — Такой талант, а ты себя губишь винищем. Что, обиделся на майора за благодарность? Не ври, знаю, что обиделся. Но ты не обижайся. Жернаков — известный скупердяй, может, Шишков, ты чем-нибудь отблагодаришь мастера?

— У меня, Иван Федотыч, никаких прав нет, только обязанности, — сухо вымолвил замполит.

— Вот беда! — вздохнул судья. — Как же мне тебя, Конев, поощрить? Благодарность ты уже получил, премия тебе не положена, — он сделал паузу, положил руку на тонированный бюст и улыбнулся. — Если твои начальники представят мне документы на твоё досрочное освобождение, то я готов их без задержки рассмотреть.

— Зубов уже этим занимается, — после непродолжительного молчания лениво сказал майор Жернаков.

В мастерскую с большим куском бумаги и бобиной шпагата впятился Гречкин. Я поспешил ему помочь. Моя суетливость была первым признаком счастливого волнения, которое вскоре захлестнуло меня с головой. О, как я в этот миг любил всех, кто был рядом — майора Жернакова, капитана Шишкова и ведущего культурного работника Гречкина, но Иван Федотыч вызвал у меня к своей особе припадок обожания, я его боготворил, готов был для него на все, и этот юридический сухарь, казалось, тоже помягчел и с вполне человеческими нотками в голосе произнес:

— Я, Конев, надеюсь, что ты оправдаешь наше доверие.

— Я, Иван Федотыч, начну жизнь с чистого листа, — услышал я будто со стороны свой охрипший голос.

— Что ж, товарищи, — произнес заслуженный юрист. — Есть предложение отъехать на дачу.

— Нет возражений! — в один голос радостно воскликнули Жернаков и Шишков.

Начальство проследовало на выход, Гречкин и я несли за ними упакованные в бумагу бюсты, а из клуба доносились могучие всплески хохота: ради праздника майор раскошелился на приглашение артистов из Самары. Мы погрузили бюсты в машину судьи, туда же поместились Жернаков и замполит, я кинулся проститься со своим благодетелем, однако Иван Федотыч глянул мимо меня и нажал на стартер.

— Тебе, кажется, сегодня повезло, — сказал Гречкин, и в его голосе прозвучали нотки зависти. От предложенной сигареты он отмахнулся: — Я и так задержался с твоими делами, а ко мне сестра приехала.

Мне ждать было некого, подымив, я потопал в сторону своего барака. День разгулялся, и я, раздевшись до пояса, подставил спину под лучи горячего весеннего солнца. Прошло с полчаса, я почувствовал, что одной стороной уже достаточно загорел, повернулся к солнцу лицом и услышал с крыльца хрипловатый голос бугра:

— Иван! Дуй на КПП. К тебе приехали.

— Не может быть, — удивился я. — И кто?

— Супруга.

— Как супруга? — вскинулся я. — Нет у меня никого и ничего, кроме алиментов.

— Ну, это, Иван, ты сам с этим разбирайся, — сказал Михайлыч. — Дай сигаретку.

Я натянул на себя рубаху, надел хэбэшную куртку, ощущая, как мое нутро начинает радостно трепыхаться. Чтобы успокоиться, я закурил, и с каждой очередной затяжкой приходил к убеждению, что ко мне приехала Валя. Но как она нашла в себе смелость объявить себя моей женой? Впрочем, я сейчас был холостяком, и закон не возбранял мне снова попытать счастья в супружестве, но, похоже, Валя всё уже решила за меня, и её самостоятельность избавляла меня от необходимости принимать решение самому.

Я подошел к открытым воротам, осторожно высунулся из них и увидел Валю, которая сидела на скамейке спиной ко мне, придерживая рукой большую сумку. Осторожно ступая по выщербленному асфальту, я подкрался и закрыл ладонями её глаза. Валя вздрогнула и тихонько произнесла неуверенным голосом:

— Ванечка! Это ведь ты?

Она повернулась, и мы встретились взглядами. Я непроизвольно вздрогнул от волнения, взгляд Вали был размыт готовыми пролиться слезами, но она улыбалась и что-то беззвучно шептала. Я испугался, что она разревется на виду у всех и, прижав к себе, горячо выдохнул:

— Ради бога, успокойся, на нас смотрят!

— И пусть смотрят, — она тряхнула головой и промокнула платочком веки. — Ты теперь навсегда мой, и я тебя никому не отдам!

— Но мне же еще полтора года париться!

— А вот и неправда, — улыбнулась Валя. — Мне твой лейтенант сказал, что на следующей неделе, самое позднее — дней через десять, тебя освободят.

— Стало быть, ты знаешь Зубова? — поразился я. — И с каких пор?

— Когда ты со мной по телефону от Стекольниково разговаривал, я на другой день приехала сюда и рассказала о нас лейтенанту. Потом несколько раз по телефону с ним разговаривала, справлялась о тебе. Он обещал известить меня, когда нам можно будет встретиться. Вчера я получила от него телеграмму.

— Так, ясненько, — хмыкнул я. — А я-то думал, с какой стати он выписал мне на двое суток увольнительную. Теперь понятно.

— Честное слово, — обрадовалась Валя, — я про это ничего не знаю, но разве это не здорово!

Я присматривался к ней, с большим удивлением обнаруживая, что она стала совсем другой: исчезла дрожливая робость в голосе, разговаривая со мной, она явно не испытывала того чувства вины, которое я навязал ей своими многолетними попреками в надуманной мною измене. Валя стала самодостаточным человеком и твердо стояла на ногах, тогда как меня даже сейчас что-то покачивало и подбрасывало, и я время от времени ощущал себя безмерно провинившимся и нашкодившим юнцом, которого в любой миг могут схватить за шиворот, выпороть и поставить в угол. Это было признаком упадка душевных сил, в котором я пребывал несколько лет, и сейчас я с робкой надеждой посмотрел на Валю, может, с ее помощью мне удастся выбраться из сырого и заросшего паутиной угла, в который я сам себя загнал своей беспутной жизнью.

— Покажи увольнительную, — попросила Валя.

Я протянул ей согнутый вдвое листок, который она рассмотрела со всех сторон и положила в карман своей куртки. Этот жест не вызвал у меня возражения и даже понравился. «Она приехала как раз вовремя, — испытывая облегчение, подумал я. — Видимо, игумену не дожидаться нового послушника, но бога я не забуду, получив элтэпэшный расчёт, отдам его весь на восстановление пустыни».

— Я тебе привезла одежду.

— Ты что, была у Зинки? — насторожился я.

— Все новое, от трусов до свитера, — сказала Валя. — Магазинное. А эти обноски надо выбросить, а лучше сжечь.

— Одевка казенная и подлежит сдаче. Но об этом потом. Нам надо на эти два дня обустроиться, — я взял в руку сумку и встал. — Пойдем за угол, там общежитие, и, кажется, нам дадут в нем комнату.

Конечно, могло и так случиться, что Зубов забыл поговорить с начальником общежития обо мне, но я крепко надеялся на Афонькина, который частенько с кем-нибудь передавал приветы и приглашение посетить его поварские владения. И я очень удачно про него вспомнил: шеф-повар в ослепительно белых куртке и колпаке посиживал на скамейке и выпускал изо рта одно за другим кольца табачного дыма. Увидев меня не одного, а с интересной женщиной, Афонькин вежливо нас поприветствовал и без задержки проводил к двери, за которой среди стеллажей с постельным бельем, одеялами, полотенцами и другим казенным имуществом скучал прапорщик, начальник общежития. Я протянул ему увольнительную, он мельком на нее глянул, вернул и снял с гвоздя большую связку ключей.

— Следуйте за мной, — миновав несколько дверей, он остановился. — Здесь мужская, а тут женская душевые. Они работают без перерывов.

Комната была угловая, с двумя окнами, прикрытыми розовыми гардинами. Прапорщик проверил работу электроприборов, включил и выключил водяной кран и, уходя, плотно прикрыл дверь. Я тотчас закрыл ее на задвижку и, задохнувшись от волнения, резко повернулся к Вале. У нее на губах цвела улыбка, а глаза сияли. Я шагнул к ней, но она тихо напомнила:

— Тебе надо помыться и переодеться.

— Конечно, конечно, — смутился я. — У меня банный день только в среду.

Валя распаковала сумку и достала из нее трусы, майку, рубашку и спортивные штаны, все аккуратно выглаженные и новые.

— А это, — она протянула мне бумажный пакет, — для казенной одежды. Я потом ее постираю и заштопаю.

Душевая в общежитии, где приводили в чувство запойных номенклатурных тружеников, была до потолка отделана иноземной плиткой, трубы, краны, лейки сияли хромом и никелем. За второй дверью на меня пахло сауной, здесь можно было попариться, а затем ополоснуться, но мне такая роскошь была ни к чему. Я включил

воду и, подставив под нее руку, вспомнил, как побывал под душем, когда меня привезли в ЛТП. Тогда меня совсем не занимало то, о чем я лихорадочно думал сейчас: под горячими струями мое тело стало оживать, скорее всего, той частью, что находилась от пупка и ниже. Однако, кровь прилила не только к причинному месту, но и ударила в голову, и, не знаящий более года женщины, я испытал сладостное содрогание, которое сменилось ледяным испугом, что от мерзких лекарств у меня кое-что нарушилось. Чтобы отогнать от себя эту паническую мысль, я открыл только холодную воду, затем только горячую и частыми сменами температур отвлекся от того, что случилось, затем молчалкой растер все тело и напоследок окатил себя ледяной водой.

Валя встретила меня уже переодетой в легкий домашний халатик, пепельно-серые волосы она подобрала вверх, обнажив чистую белую шею и небольшие с изящным изгибом уши.

– Сейчас, Ванечка, приходил кто-то в белом и принес блюдо с мясным ассорти.

– Это Афонькин, – сказал я. – Я ему угодил рисунком, и он это помнит.

Мы устремились навстречу друг другу, я обнял Валою, поцеловал, а дальше все произошло как будто в горячем бреду, пока меня не охватило чувство глубочайшего удовлетворения жизнью, которое на какое-то время пронзило меня насквозь, после чего ко мне не сразу вернулась способность слышать и видеть...

Я голяком кинулся к столу, сделал два бутерброда с мясом и вернулся на диван. Завернувшись в простыню, Валя сидела на нем с протянутой рукой и улыбалась.

– Не проносите мимо...

Утишив голод, я вспомнил, что не спросил о самом для нее важном:

– Как дочка, здорова?

– Она тебя ждет, – после некоторого молчания сказала Валя.

– Откуда, из ЛТП? Она ведь уже почти взрослая.

– Нет, конечно. Но врать, что ты в командировке, я не стала. Она думает, что ты живешь недалеко, но в другом городе.

– А вдруг мне не удастся с ней поладить, что тогда?

– Я много ей рассказывала о своем детстве и о тебе, конечно, как ты мне от своей матери тряпочки приносил для кукол, про нашу школу, ей это не было скучно, и, кажется, она тебя не считает совсем уж чужим человеком.

– Ладно. Будем надеяться на лучшее. Хочешь еще хлеба с мясом?

– Своди меня в душ. А потом мы пообедаем по-настоящему. Я кое-что с собой захватила.

Валя подошла к зеркалу, поправила прическу, застегнула на все пуговицы халатик, взяла пакет, и мы вышли в коридор. Он был пуст, я уже подвел Валою к душевой, как из комнаты напротив послышался голос капитана Попова:

– Вам, Валерий Петрович, плохо! Вы чувствуете, как у вас сжимается желудок!

– Что это? – пискнула Валя.

– Ерунда, потом объясню. Не бойся, я побуду здесь.

– Нет, уходи, я закроюсь.

Камлание главврача завершилось успешно: номенклатурный алкаш с подвыванием изверг из себя рвотную слизь. Мне видеть и слышать это было не внове, и я отошел к отведенной мне комнате, где остановился, чтобы приглядывать за Валею.

Через какое-то время дверь комнаты, где был Попов, отворилась, и из нее вышел пузан, бережно прижимавший к своему брюху эмалированный тазик. «Надо же! Какое социальное неравенство, – усмехнулся я. – Мы рыгаем в оцинкованные тазы, а здесь – эмалированные, да ещё с цветочками».

Вскоре из комнаты гостя показался капитан, и я спрятался от него за распахнутой дверью своего номера. Встречаться с ним, когда я уже стоял на пороге освобождения, было опасно: главврач свободно мог назначить мне ещё одну процедуру, чтоб я не забыл его на всю оставшуюся жизнь.

Валя вволю намылась и наполооскалась под душем. Пока она сушила волосы и приводила себя в порядок, я отлучился на кухню, где Афонькин наложил тарелку макарон по-флотски и дал мне две фирменные ватрушки и литровую банку кофе.

– Тебе сегодня надо усиленно питаться, – сказал он и лукаво подмигнул. Я рассказал о своем номенклатурном соседе. – Это какой-то шишкарь из Самары, – сообщил Афонькин. – Попов говорит, что печенка у него, как решето. А ведь пил только армянский коньяк высшей пробы. Ты анекдот про мышей-алкашей слышал?

– Нет.

– В ЦК заинтересовались: почему работяги пьют всякую дрянь, но живут долго, а начальство пьет коньячок да водочку, но мрет – то инфаркт, то инсульт. Поручили разобратся медикам. Те в одну клетку посадили мышей-«начальников», а в другую мышей-«работяг». И опять – «работяги» здравствуют, а «начальники» мрут. Стали разбираться, наконец, дошли до лаборанта, который ухаживал за мышами.

«Я пою и кормлю, — сказал он, — тех и других одинаково, только «начальникам» иногда здоровенного кота показываю». Ну, как? Да не рассыпь еду и смейся потише, прапорщик у нас на этот счёт строг.

Макароны я умял почти что один, Валя поглядывала на меня, как я лопаю, и съела только ватрушку со стаканом кофе.

— Ты что не кушаешь? — спохватился я.

— Достаточно, — сказала она. — Мне нравится смотреть на тебя, когда ты ешь.

Она, того не ведая, напомнила, что скоро мне надо будет озаботиться о своем трудоустройстве.

— Стекольников тебе не звонил?

— Как же, — оживилась Валя. — Два раза. У него большой заказ, и у него идея отдать тебе часть работы, но я против.

— Почему? У него за месяц можно заработать столько, что хватит на весь год.

— Мне страшно, Ванечка, что ты опять там запынешь. Зачем тебе эта работа? У нас на машиноиспытательной станции уже полгода как нет аккумулятора. Ты ведь у нас работал, вот и возвращайся.

Полгода назад даже мысль о том, чтобы я бросил скульптурный цех и мастерскую Стекольников, вызвала бы у меня негодование, но сейчас я выслушал Валу спокойно. Конечно, я еще жил и горел скульптурным художничеством, но мыслил о нем более трезво. В ЛТП я не только протрезвел, но и стал здраво оценивать свои силы и способности. В Союз художников без специального образования меня не примут, стало быть, официальных заказов не будет. Остается шабашка, но я уже знал, что этот заработок ненадежен, а мне предстояло жить с семьей, заботиться о близких.

— Кажется, ты права. Пора перестать замахиваться на то, что мне не под силу. Но вернуться в аккумуляторщики я не смогу — стыдно. В наше время все неудачники в искусстве обретаются в дворниках. Ты не против, чтобы я взял в руки метлу?

— Беда мне с тобой, Ванечка, — вздохнула Валя и обняла меня за шею. — Но я рада, что ты здесь не огрубел и не озлился. А бог добрых людей своей милостью не оставляет.

Валя никак не могла на меня наглядеться, и мы с ней пробыли в комнате до вечера, вспоминая только о хорошем, что между нами было. Никаких грандиозных планов на будущее мы не строили, потому что в нашем возрасте предаваться безрассудным мечтаниям могут только совсем отчаявшиеся люди. Мы, наконец-то, обрели друг друга и радовались только этому, Валя как рассудительная женщина озаботилась моим здоровьем и рискнула заглянуть на месяц вперед.

— Тебе, Ванечка, нужно отдохнуть, — сказала она. — В июне у меня отпуск, и если ты не против, мы поедем к сестре в Апшеронск. Она живет с мужем в своём доме. Рядом есть грязелечебница, а в тридцати километрах — море.

— Сначала свадьба или хотя бы свадебный вечер вдвоём, конечно, после регистрации. Думаю, мне ещё не поздно пить «Боржоми» и веселиться.

Вечером мы пошли прогуляться по окрестностям и через полчаса ходьбы набрали на разлившуюся речушку, через которую от одного берега к другому были перекинуты жердевые мостки. Мы ступили на них, дошли до середины и остановились зачарованные быстрым течением воды, которая под мостками свивалась в напозающие друг на друга глиняного цвета жгуты, плескалась и бурлила, огибая берёзовые стояки, и надолго приковала наши взгляды беспокоящим душу чувством ощущения опасности. Валя невольно прижалась ко мне и слегка задрожала: на воде было ощутимо прохладнее, чем на земле, и мы пошли к берегу, решив взглянуть на заречные окрестности.

Сходя с мостков, мы спугнули какую-то большую и тяжёлую птицу, которая, поднимаясь на крыло, с шумом продралась через сухие прошлогодние камыши и полетела, нелепо подныривая, совсем невысоко над землей, оглашая окрестности неожиданными для слуха резко-скрипучими криками.

— Чибис! — догадался я.

Чтобы лучше разглядеть его полет, мы поднялись на берег и, забыв о птице, замерли на месте, безуспешно пытаясь вместить в себя открывшийся нашим взглядам огромный, слегка всхолмленный заливной луг, с которого уже сошла вода, и он за несколько жарких дней успел покрыться свежей бархатной зеленью, освещенной на взгорках и затененной в низинах, простирившейся почти до самого горизонта, обозначенного непроницаемой полосой чернолесья. Над ним громоздились друг на друга кучевые облака, ещё не стромбовавшиеся в грозовую тучу, и в прорехе между ними сияло чуть сизоватое перед закатом солнце, от которого на нас ощутимо источались волны сухого тепла и яркого света.

Проживший больше полугода взаперти и в подвальных сумерках барака и кирпичного завода, я трепетно воспринимал обрушившийся на меня простор и некоторое время стоял, зажмурившись, и полной грудью вдыхал воздух своей воли,

ощущая, как хмельно покруживается голова, а горло перехватывает рвущийся от самого сердца наружу нечленораздельный вопль. Я взглянул на Валю и понял, что ею владеют чувства, вполне созвучные моему восторгу, и больше не стал себя сдерживать и проорал во всю мочь что-то несуразное и дикое.

Валя в ответ на мою выходку тоже вскрикнула и побежала по немятой траве, щедро рассыпая серебряные брызги смеха. Я кинулся за ней следом, в несколько прыжков догнал, подхватил на руки и закружил на взгорке, затаптывая невысокие, но уже распутившиеся бледно-розовым цветом кусты шиповника.

— Как хорошо, — обнимая меня, прошептала она. — Я очень счастлива и одновременно боюсь, что это ненадолго.

Я остановил наше кружение и бережно опустил её на землю.

— Теперь мы не одиноки: у меня есть ты, а у тебя есть я, и наше счастье зависит только от нас.

Но Валя меня уже не слушала, она беспокойно заглядывалась по сторонам и взволнованно произнесла:

— Разве ты не слышишь? Какой-то гул и земля, кажется, подрагивает, — в этот миг я и сам услышал то, что она назвала гулом, это было похоже на отдаленный шум идущего на подъём грузового поезда. — Это кони! — вскрикнула Валя и прижалась ко мне.

Прямо на нас по травяному безбрежью, подобно паводку, катился плотно сбитый, не меньше, чем в сотню голов, табун лошадей. Куда-то бежать и прятаться от них было уже поздно, нас разделяло не больше пятидесяти шагов, от страха я обезножил и попытался заорать, чтоб как-то отвратить от нас этот смертно опасный поток, но сумел лишь открыть рот и жалобно вякнуть и замахал руками. Возможно, моё мельтешение привлекло внимание идущего чуть впереди табуна крупного саврасого жеребца или он сам разглядел нас на взгорке, но табун резко подался в сторону и, по дуге огибая нас, направился к берегу, где кони замедлили бег и остановились у края воды.

Я взял Валю за руку, и мы взошли на мостики, откуда нам был виден весь берег и так напугавший нас табун. Лошади разбрелись по краю земли, некоторые забрели в речку и, брезгливо оттопыривая губы, цедили мутную весеннюю воду, трясли гривами и помахивали хвостами. Саврасый жеребец продолжал оставаться бдительным вожаком и стоял, вытянув шею и оглядывая всё вокруг. Внезапно он сорвался с места и, завизжав от ярости, кинулся на молодого коня, который попытался притиснуть кобылу. Малолеток со страха бросился в речку, отплыл на десяток метров, оглянувшись на берег и, сплавляясь по течению, стал высматривать, где бы ему выбраться на сушу в стороне от своего гонителя.

— Пора возвращаться в общежитие, — сказал я. — Какое счастье, что через несколько дней я стану вольным человеком!

## Послесловие

Вопреки нашим ожиданиям, меня освободили только через два месяца. Я даже не догулял полностью увольнение, на другой день меня вызвали в отряд: в ЛТП нагрянула проверка, и не плановая, а чрезвычайная и министерская. Она была спровоцирована убийством Кости-хоккеиста, в МВД решили, что такое ЧП в лечебно-трудовом профилактории выходит за все мыслимые рамки, и на голову майора Жернакова из Москвы явился холёный молодой полковник и десять дней ставил наше ЛТП то на уши, то на карачки.

Его въедливость и принципиальность вышли Жернакову боком, за различные нарушения и злоупотребления его вывели за штат, и майору корячилось очень недостойное увольнение из органов. Но больше всех пострадал я, о моём досрочном освобождении никто не заговаривал, я ткнулся с этим вопросом к Зубову и получил от него втык и возвращение в первобытное состояние — откатчиком на формовку, где меня с распростёртыми объятиями встретил Кильдымыч.

От внезапно обрушившейся беды я чудом устоял на ногах, но меня крепко поддерживала Валя. Она каждую субботу приезжала ко мне и вырывала у Зубова свиданку на выходные. Так продолжалось почти два месяца, пока, наконец, пурга, поднятая московской проверкой, не улеглась, и всё вернулось на круги своя. Майор Жернаков снова занял свой кабинет, лейтенант Зубов получил за четверть века беспорочной службы третью звёздочку на погоны, руководство нашего загона воспряло духом и стало готовиться к смотру на звание лучшего ЛТП страны.

Надо отдать должное начальнику отряда, он напомнил о моих заслугах Жернакову, и тот, недавно сподобившийся познать горечь несправедливых репрессий, воспынул ко мне, как к собрату по несчастью, сочувствием и подмахнул бумагу на досрочное освобождение. За решением Ивана Федотыча дело не стало, и я распрощался со

ставшей мне почти родной обителью для отверженных, чтобы выбросить её насовсем из памяти вместе с антиалкогольно-шаманскими камланиями капитана Попова. Этот мерзавец надолго испортил все мои праздничные застолья, но со временем обида на него у меня прошла, лишь иногда он мне снится. Я просыпаюсь в холодном поту и, прежде чем слезть с кровати, смотрю вниз, чтобы не наступить на черепушку бугра Михайлыча.

Трезвый образ жизни позволил мне утвердиться в роли надёжного для клиентов шабашника, чуть позже я организовал фирмочку по изготовлению надгробий и в денежном отношении окреп настолько, что построил весьма вместительный особняк. Моё благополучие сейчас многим в зависть, и только Стекольников поглядывает на меня с насмешкой. Старик остался верен своему старомодному отношению к искусству и, угостившись моим дорожным коньяком, любит ткнуть носом в моё отступничество:

— Нет, Ванюшка, ты так и не поднялся с колен! Но ты, брат, судя по питью и закуси, неплохо устроился жить на четвереньках. Но, может, ты и прав, искусство — это такая прощандовка, что лучше с ним не связываться на всю жизнь. По молодости можно им побаловаться, но жить всю жизнь как с женой — это такая дурь, от которой и лекарства, кроме водки, не существует. Но можно и коньяку хлобыстнуть, если он дармовой!

Пользуясь своими связями, я подогнал Стекольникову неплохой заказ на ростовую скульптуру нашего губернатора, которую вздумал установить в родной деревне руководителя региона глава районного муниципального образования. Аверьяныч умел обходиться с заказчиками и выторговал себе приличный гонорар и даже стал задира́ть нос — скульптура должна была стоять в бронзе. Вопреки моим опасениям, заказ не сорвался, и через год я получил от Стекольника приглашение на открытие памятника. Тут-то и выяснилось, что это произойдёт совсем недалеко от ЛТП, и я почувствовал некоторую ностальгию по этому загону для отверженных, поэтому без колебаний отправился на родину губернатора. Валя тоже захотела взглянуть на дороге для её сердца места, где она нашла своё счастье.

Глава района устроил в духе времени шикарное и, видимо, дорогущее шоу, разве что не палили из пушек, но автоматную трескотню устроили, среди бела дня запустили уйму фейерверков, сопровождал церемонию симфонический оркестр, словом, всё очень мило и задушевно.

Мельком глянув на памятник, я пожал руку Стекольникову, и мы с Вале́й поехали в сторону райцентра. Через полчаса с увала, на который нас вынесло шоссе, моему взгляду открылся вид на захолустный городок, я сразу же разглядел на его окраине несколько строений, огороженных забором, трубы котельной и барак, в котором я начал путь к своей новой жизни.

— Какой прекрасный храм! — воскликнула Валя, указывая на сияющие золотом храмовые строения, находившиеся чуть в стороне от райгорода.

— Это Троицкая пустынь, — сказал я и сразу вспомнил моего союзника Бывалина: жив ли он, чем покоит свою старость — вином или трезвой праведностью?

Вблизи бывший ЛТП выглядел плачевно: всё, что имелось в нем металлического, начиная с брамы ворот, было вырвано, срезано, сломано и пошло на металлолом. Окна в бараках, столовой, клубе, больнице были выбиты, двери сорваны, кругом возвышались кучи мусора и везде зияли черные пятна от многочисленных кострищ.

Я поспешил к фонтану и убедился, что он тоже раскурочен почти полностью: мраморная плитка с ограждения сколота, трубы вырваны, а из моих дельфинов цел только один, но по отметинам на бетоне было заметно, что его били с полного замаха кузнечной кувалдой.

Здесь делать было нечего, и мы поехали взглянуть на кирпичный завод, который, как оказалось, был жив, но дышал на ладан. Я приткнул «Форд» к проходной, заглянул в неё и увидел Кильдымыча. Он уставился на меня одним глазом, пригляделся и хрипло выдохнул:

— Ты ведь наш? Кажется, я тебя помню.

Несколькими словами я напомнил старику о себе, он оживился и стал походить на прежнего Кильдымыча:

— Какой завод был! А сейчас вряд ли мы выживем. Одна надежда, что опять начнут собирать бросовых людишек в ЛТП. Об этом всё громче поговаривают наши думачи, что в Москве.

— А как же права человека? — запротестовал я. — Опять вернуться к принудлечению?

— Почему бы и нет? — удивился Кильдымыч. — В России всё течет, но ничего не меняется.